



А. И. Меньшиков

Ничего особенного
не случилось



НОВИКИ-СОВРЕМЕНИКИ

Александр Письменный

Ничего особенного не случилось

Повесть и рассказы

«Современник»

Москва-1975

Письменный А. Г.

П35 Ничего особенного не случилось. Повесть и рассказы.
М. «Современник», 1975. Предисл. В. Василевского.
176 с. (Новинки «Современника»).

В этой книге известного советского прозаика Александра Письменного, скончавшегося четыре года назад, произведения, созданные как в годы первых пятилеток (рассказы «Буровая на море», «На старом заводе», «Повесть о медной руде»), так и в годы Великой Отечественной войны: «Была война», «Ничего особенного не случилось» и др.

Книга воспитывает в молодом поколении гордость за дело, совершенное старшим поколением.

Автор предисловия писатель Виталий Василевский.

П $\frac{70302-116}{М 106 (03)-75}$ 34—75

P2

История и современность

В этой книге Александра Письменного, скончавшегося четыре года назад, собраны произведения самые разнохарактерные и разновременные по срокам их создания. Однако книга производит удивительно цельное впечатление, ибо в каждом рассказе открыто, художественно мощно выражена индивидуальность писателя, его нравственная убежденность.

Книга читается с увлечением, но современному читателю, особенно молодому, для наиболее глубокого и верного понимания авторской концепции необходимы, на мой взгляд, некоторые историко-биографические пояснения. И я, давний друг Александра Григорьевича, а говоря душевнее, Саша Письменного, эти пояснения обязан сделать.

А. М. Горький при своем журнале «Наши достижения» собрал группу молодых, а точнее сказать, начинающих писателей, — в нее входили: Н. Атаров, А. Письменный, В. Козин, А. Бек, М. Лоскутов, Е. Босняцкий, В. Канторович, Ф. Пудалов, Н. Старов и я, многих из них теперь нет с нами.

Алексей Максимович был редактором-наставником и воспитывал нас умно, доброжелательно, строго. Горький знал, что молодым без жизненного опыта пробиться в литературу невозможно, что лишь жизненный опыт является надежной идеологической опорой художественного мастерства, а люди, не ведающие жизни своего народа, либо становятся неудачниками, либо мыкают свой век околотелературными ремесленниками. И с благословения Алексея Максимовича мы поехали в «университеты» новостроек первых пятилеток: на Магнитку, на Днепрострой, в Кузнецк, на Урал; так я подружился с Сашей Письменным в Донбассе, в Горловке, куда мы приехали, я — из Ленинграда, Саша из Москвы, — с редакционными удостоверениями, подписанными Горьким.

Молодое героическое время первых пятилеток! Вся страна была строительным фронтом, и мы жили, именно жили на новостройках. И рабочие, инженеры считали нас, питомцев Горького, не гостями, а сотоварищами по труду. Оттуда, с передового края пятилетки, каждый из нас привез свою первую книгу рассказов и очерков.

Сейчас я отчетливо вижу, что если бы Алексей Максимович не заставил нас эти годы пробыть, пусть новобранцами, на передовых рубежах пятилетки, то мы политически бы не закалились столь быстро, нравственно бы не возмужали, да и технологией писательского дела, вероятно, не научились бы владеть уверенно.

Горький постоянно напоминал нам о творческом смысле социалистического труда. Труд — это творчество. В труде советский человек плодотворно выражает силу разума и чистоту чувств. И потому труд — святыня.

Это общественно-нравственное учение А. М. Горького поможет читателю понять, почему самые значительные произведения А. Письменного посвящены именно трудовому творчеству советского рабочего класса. Думаю, что «рабочая тема», как теперь говорят, пришлась по душе писателю и потому, что детство Саши прошло на заводе в Бахмуте (ныне Артемовск), где его отец работал инженером. Не будем преувеличивать значение биографического фактора в литературе, но признаем, что детские впечатления незабываемо живописны и душевно благотворны.

Книгу открывает своеобразное лирическое стихотворение в прозе «Большой мир». Пусть вхождение маленькой мордовской девушки Маринки «в большой мир своей Родины» показано условно, но читатель, конечно, почувствует поэтичность рабочей судьбы молоденькой краповщицы мартеновского цеха. Здесь, в этом вдохновенном прологе книги, уже поставлена серьезная мысль, волнующая долгие годы писателя: труд нравственно выпрямляет, просветляет человека. Люди на белом свете живут разные: и покладистые, и строптивые, и капризные, и упрямые... Гурий Чикин, мастер цветного литья (рассказ «Речные просторы»), отличается самодовольством и блажью. А буровой мастер Кузнецов («Буровая на морс») чувствует себя обиженным, допустим, обоснованно, а может быть, и чуть-чуть капризничая. Но перед возвышенными целями созидательного труда рабочего коллектива эти житейские огорчения становятся пустяковыми.

«Он (Чикин) не мог жить без своего дела, без зеленеющего, как в преисподней, огня над тиглями с расплавленной медью, без людей, толкущихся рядом со своими формами, своим литьем...»

И бурильщик Кузнецов, преодолев свои обиды, по нашему разумению — мнимые, но его-то самого терзающие, работает с азартом, с душевным упоением: об этом писатель нам рассказал психологически достоверно, художественно выразительно.

Александр Письменный живописал небольшие рабочие поселки, жители которых любили свой завод, гордились им, прославляли самоотверженным трудом родной завод.

«Солнце еще не взошло. В тишине утра отчетливо слышался топот прокатных станов на заводе... В этот ранний час маленький захолустный городишко выглядел торжественно и незнакомо. Непрестанный шум завода, зарево над его мартеновскими печами, лязг железа на погрузочной площадке, свистки паровозов говорили о вечной жизни на земле, о труде, о счастье».

Это сказано проникновенно, правдиво. И рабочий человек обрадуется такому зоркому наблюдению писателя, почувствует действительную торжественность, не формальную, а внутреннюю, каждодневного ожидания начала первой смены на своем заводе.

Писатель ценил в людях верность их профессии, их жизненному и трудовому долгу... Давыду Савельевичу Мозгову семьдесят четыре года. «Из них сорок два он управлял этим заводиком. Был он сыном заводского рабочего, начал свою карьеру с рассыльного мальчика — «значка», как говорилось здесь, и дошел до управляющего. Управлял заводиком он и после революции и ушел на пенсию по старости всего несколько лет назад» («На старом заводе»).

Справедливо сказано, что не может сердце жить покоем... Не от хворостей, а от безделья дряхлеет и тоскует Давыд Савельевич. И едва зять Петя Турнаев предложил ему вести в школе стахановцев занятия по прокатному делу, как старик подтянулся, если не помолодел, то явно приободрился, и оказалось, что он имеет сравнительно богатые душевные резервы... Как же это важно — внушить человеку, пусть пенсионеру, что и он нужен его рабочему коллективу, да и вообще людям!

Эта же гуманистическая тема художественно удачно решена в рассказе «Жена». Зинаида Сергеевна, бывшая актриса, не намерена принимать материальное благополучие за счастье, она тянется из домашнего захолустья к людям, она завидует мужу, работающему инженером в далекой Косье.

«В каждый свой приезд он приносил с собой ветер из другого, полного деятельности, незнакомого мира, и это ее тревожило, причиняло страдания...»

В образе Зинаиды Сергеевны частично отразилась судьба матери писателя Веры Самойловны, которая до революции была

действительно, как и Зинаида Сергеевна, актрисой известного тогда театра Спешлиникова в Харькове, но в молодые годы лишилась слуха и была вынуждена покинуть сцену.

Писатель еще мальчиком, вместе с отцом-инженером, естественно вошел в кипучий, по-своему романтический, мир завода, полный деятельности, но от матери-актрисы не перенял театральности, зрелищности, всегда стремился в стиле своих произведений к благородной простоте.

Конечно, многие остро современные в годы довоенных пятилеток рассказы А. Г. Письменного теперь превратились в страницы истории нашего народа, страницы славные, героические, но все-таки принадлежащие ныне прошлому. Это заметно и в рассказах «Буровая на море», «На старом заводе» и особенно в «Повести о медной руде»: там изображен, к слову, чрезвычайно конкретно лишь первый этап преобразования старого демидовского Урала в цитадель социалистической индустрии. Однако нравственная проблема этого исторического повествования и сейчас политически актуальна: труд, рабочий коллектив сформировали характер, душевный облик Ваньки Коровина, сына стяжателя, мелкого хозяйчика, превратили его в кадрового шахтера.

Вот в чем сила правдивой художественной литературы: бытовой материал произведения уходит в историю, а нравственные проблемы его для каждого нового поколения читателей остаются злободневными, как бы обновляясь, а зачастую и умножая воспитательное воздействие!..

В книге представлен цикл военных рассказов Александра Письменного. Читателя обязательно заинтересует, почему в них нет открытых картин битвы, непосредственных боевых эпизодов? Этому есть свои причины, и достаточно мучительные... С юпошеских лет Саша Письменный был серьезно болен и встретил Отечественную войну белобилетником.

В автобиографическом рассказе «А какая была корова» (ж. «Наш современник», № 2, 1968) он написал: «Мир, сотрясаемый войной, был для меня ограничен стенами квартиры. Даже до станции метро во время воздушной тревоги я не мог дотащить. Я только учился ходить, вернее, переступать, как паралитик, бессильными закахшими ногами». Это абсолютно достоверное признание.

Едва Саша в эвакуации слегка поправился, как при помощи А. А. Фадеева вернулся в Москву, поехал на фронт военным корреспондентом, правда, вольнонаемным, — в кадры врачебная комиссия его все-таки не пустила.

Теперь читатель понял, почему сравнительно ограничен масштаб изображения войны в рассказах Письменного.

Писатель счел бы кощунством заниматься отвлеченным сочинительством и рассказал лишь о том, что сам видел, сам узнал, сам пережил, перечувствовал на фронте. Так совершенно фантастический по сюжету рассказ «Была война...» — протокольно-документальный, и авторский вымысел проявился лишь в художественной штриховке. И надо признать, что полон трагической силы этот невыдуманный рассказ о горе, которое принесла детям война.

Так что не будем упрекать писателя за то, что он оставил нам не батальные сцены, а отдельные картины фронтовой и прифронтовой жизни. Они — правдивые. И общий смысл фронтовых рассказов, соседних рассказов о любви, о мирных послевоенных днях заключен именно в том, что личная судьба каждого из персонажей взаимосвязана с исторической судьбою всего народа, и там, где достигнута безраздельная гармония индивидуального со всенародным, человеческая жизнь становится возвышенной.

С этой этической позиции писатель гневно осудил эгоизм Марочкина («Ничего особенного не случилось»), трусость, тоже эгоистическую, Флегонтова («Мед и деготь»), душевную апатию Лизы («Самая простая история»). Они и подобные им не живут, а существуют робко, вяло, их жизненный жребий жалок, они — на обочине исторического пути народа. Все симпатии писателя отданы людям принципиальным, стойким, рискованным, душевно щедрым.

Фадеев уважал и ценил талант Письменного. Он прочитал и быстро напечатал его роман «В маленьком городе» в своем журнале «Красная новь». Когда Сашу принимали в Союз писателей, то на заседании приемной комиссии один критик выразил «недоверие» рассказу «На рассвете». Председательствующий А. А. Фадеев сказал веско:

— Это хороший рассказ по деликатному и уважительному отношению автора к подросткам!

Верю, что и читатель внимательно прочтет и, возможно, перечтет «На рассвете», и согласится с авторитетным суждением Фадеева...

Должен добавить, что деликатное и уважительное отношение не только к подросткам, но и вообще ко всем людям — заветная тема многих произведений Александра Григорьевича.

Читатель, бесспорно, почувствует добротность художественной фактуры даже ранних рассказов А. Г. Письменного, их стилистическую, как говорят живописцы, «разработанность». И дей-

ствительно, Саша никогда не удовлетворялся черновыми набросками, торопливой скорописью. Он был неистовым тружеником. Он уходил в работу, как в затвор, исчезая от нас — друзей — не на недели, а на месяцы. Саша законно гордился добросовестностью своего литературного труда, и я это одобряю. Он относился к письменному столу, к пишущей машинке с таким же уважением, с каким относится к своему станку потомственный рабочий.

Творческая самодисциплина Александра Письменного — это же центральная черта коммунистического труда!..

Хотя Александр Григорьевич написал три романа: «В маленьком городе», «Приговор», «Большие мосты», и на мой взгляд, их общественно-художественное значение не миновало, я считаю, что свое призвание писатель нашел в рассказе. Саша был убежден, и я с ним согласен, что жанр рассказа подвластен самому серьезному идеологическому замыслу и способен вместить в себе значительные социальные события, конечно, в лаконичных формах.

Не сомневаюсь, что читатель этой книги достойно оценит прелесть и художественную самостоятельность лучших рассказов Письменного. Напомню давним его читателям, что в других книгах Александра Григорьевича неоднократно публиковались такие удачи, как «Мальчик у Тетнульда», «Через три года», «Кочевник», «Васька и Василий Васильевич». Эти рассказы давно заняли свое законное место в «Библиотеке русского советского рассказа», еще, к сожалению, не изданной, но в истории нашей литературы реально существующей.

Мы видим, что посмертная книга Александра Письменного познавательно глубокая, что история нашего народа в ней показана с незаурядной художественной силой и счастливо сочетается с современными насущными проблемами нравственного самовоспитания общества.

На этом я заканчиваю пояснения к талантливой книге друга, скончавшегося от тяжелой болезни всего лишь на шестьдесят втором году жизни.

Москва

Виталий Василевский

Большой мир

Маленькая мордовская девушка видит сон... Черный человек с длинным копьем в руках шагает навстречу мохнатому огнедышащему чудовищу. В дымном чаду светится его кровавый глазок. Пригнувшись, словно для прыжка, человек кидается вперед и колет чудовище. Оно рывкает, приседает, изрыгает угарное, дымящееся пламя. Глазок его вспыхивает, брызжет тяжелыми белыми искрами, расширяется, точно от ярости и изумления. Багровое пламя вырывается из его пасти...

Маленькой мордовской девушке кажется во сне, что сейчас все будет испепелено взрывом неистового пламени: и человек с копьем и его подручные, следующие за ним с мечами, клещами. Искры сыплются и мечутся вокруг, но человек в опаленной одежде не отступает. Даже когда он застывает на месте, что-то напряженное и стремительное сохраняется в нем, точно туго закрученная пружина скрыта в его теле. Девушке кажется: от исхода этой битвы зависит ее судьба. Неясными нитями связана она с участью черного человека. «Остерегись!» — хочется ей крикнуть, но она не может вымолвить ни слова.

И вдруг в этом дыме и пламени, в ошеломительном бесновании искр девушка узнает знакомые лица. В первое мгновение она не верит самой себе. Но здесь нет ошибки. Ну, конечно, потому и чувствует она неясную связь с участью человека в опаленной одежде, что ведь это Савельев Дмитрий Григорьевич! В жизни он застенчив, молчалив, спокоен. Лицо у него белое, чистое, с тонкими, широко расходящимися бровями. И подручный его в шлеме — это ведь обыкновенный старый красноармейский шлем — знаком маленькой девушке. Это Куре-

люк Афанасий Иванович, полтавский колхозник с черными важными усами. Обо всем он говорит так: «Для нас это пара пустяков...» А другой подручный — Бутлицкий Павел Спиридонович, демобилизованный солдат, участник сражения за Берлин. Он все подсмеивается над ней: «Маринка, отчего ты такая маленькая? Выросла бы чуть побольше, взял бы тебя замуж». А то просто спрашивает: «Ну, что ж ты, Маринка, не растешь?..»

Все ближе становится видение знакомых лиц. Вот уже можно различить золотые зайчики в пристальных и спокойных глазах Савельева. Он глядит из-под синих очков, прикрепленных к широкополой войлочной шляпе. Тяжелые огненно-белые искры сыплются теперь вокруг девушки, гудят, мечутся, лопаются на лету, и все это ее не страшит.

«Да ведь это же наши люди! — думает она во сне. — Они чугуны выпускают на третьей печи!..»

А люди все ближе, жар огня все сильнее. Да ведь это она сама в черном стеганом ватнике сидит в высокой кабине мостового крана над литейным двором. Сейчас девушке нечего делать, но если отверстие летки закозлится и нужно будет пустить в ход тяжелый инструмент, горновой призовет ее, и она подаст ему руку помощи — цепь мостового крана.

Маленькая мордовская девушка улыбается во сне. Какой смешной сон! Увидеть во сне доменный цех, в котором она работает восьмой месяц, людей своей смены, себя самое в бешеном вихре брызжущего металла...

Резкий паровозный гудок будит девушку. Весеннее солнце сверкает в чисто выбеленной просторной комнате. Две кровати застелены, и в изголовьях, по мордовскому обычаю, поднимаются к потолку, в чистых белых наволочках, тугие, как поросята, двенадцать подушек — мал мала меньше. На двух других кроватях спят ее подруги. На стене висит нудий — национальный инструмент из тростниковой трубки и коровьего рога; на стуле валяется пулай — тяжелый набедренный пояс с медными монетами и пуговицами, нашитыми в несколько рядов: вчера был концерт самодеятельности во Дворце культуры.

Вот еще раз прокричал паровоз за окном. Тяжелые составы с коксом и рудой идут мимо окна по железнодорожной насыпи. Если приподняться с постели, то отсюда, из окна большого дома, где живет с подругами девушка,

видны обширные заводские строения из красного кирпича, семь высоченных кирпичных труб мартеновского цеха, дымящие непрестанно, колошники домен, каупера.

До смены еще полтора часа. Девушка вспоминает, как впервые попала в доменный цех. На ней тогда была длинная самотканая льняная паля с шестью большими красными полосами на подоле. Так же были одеты и все ее двадцать подруг, вместе с которыми она приехала из деревни восемь месяцев назад. Восемь месяцев! Как это было недавно, и как это было давно. Все случилось как во сне. Она ясно помнит морщинистое лицо старой тетки Альны, голоса земляков, деревенскую улицу, заросшую высоким молочаем...

Когда она сюда приехала, ее пугали паровозные гудки и лязг металла в прокатном цехе. В первый день ей и ее подругам поручили разбирать железный лом, и они каждый раз приседали от страха, когда на насыпи кричал пузатый паровоз, который таскал к разливочной машине ковш с расплавленной сталью.

Сейчас ей приятно было вспоминать и то, как учили ее водить над цеховым пролетом черный, закопченный мостовой кран и то, какой ужас охватывал ее вначале, когда нужно было по отвесной железной лесенке взбираться в кабину крана под самую кровлю цеха, и то, что каждый, раз, когда в цехе начинали очередной выпуск металла, ей казалось, будто произошла катастрофа.

Сейчас она встанет, оденется, пойдет в столовую, а потом в цех. Горновой Дмитрий Григорьевич Савельев пробьет длинным металлическим шестом летку и выпустит металл. Если в летке будет слишком много сырой глины, дико будет бушевать чугун, и по всему цеху разлетятся тяжелые огненно-белые искры.

Когда выпуск металла приблизится к концу и начнут стихать огненные взрывы, один из подручных охладит из брандспойта раскаленные подступы к отверстию летки. Потом металл начнет постепенно ослабевать. Потускнеет яркость света, затихнет гул огня. Горновой поднимет руку: «Внимание!» Затем опустит ее: сигнал машинисту заделочной пушки. Громоздкая, цилиндрическая машина легко повернется на шарнирах и, точно присев, с подскоком плотно захлопнет выпускное отверстие. Мгновение — и сразу превратится в сияние огня, полностью замрет шум пламени, беснование искр.

С осторожностью горновой мастер приблизился к пушке. На мгновение он перекроет пар. Подручный быстрым и сильным движением бросит в цилиндр пушки лопату глины. Оглушительно засвистит вылетающий пар. Поршень пушки вгонит порцию глины в отверстие летки. Раз за разом, в облаках пара, под яростный его свист, поршень пушки начнет набивать в отверстие летки материал, который не даст чугуна вырваться на волю в неурочную минуту.

А когда эта работа закончится, примется за дело девушка. Она начнет ездить на мостовом кране взад и вперед, и люди внизу, на литейном дворе, с ее помощью возьмутся за уборку наплывов шлака, чугуна — всего того, что доменщики называют словом — «схардовина».

Лежа в постели, маленькая девушка, вошедшая в большой мир своей Родины, пыталась представить себе, как металл, выплавленный с ее помощью, взрыхляет землю на полях ее страны, как бегут по ее металлу поезда во все концы, как бороздит он моря в разных сторонах мира. В сиянии брызжущего металла, который она помогает выплавлять, открывалась перед маленькой мордовской девушкой вся Вселенная.

Вечером ждали грозу, но она прошла мимо и разрядилась далеко за городом. Мальчики сидели вместе со взрослыми. Стол был накрыт в палисаднике, под старыми липами. Длинный шнур настольной лампы протянули сюда из комнаты. По темной улице мимо палисадника, отгороженного пыльными кустами желтой акации, густо двигались в городской парк гуляющие. За этим близким шумом стояла тишина, а дальше, в глубине, далеко за домами, слышно было, как шумит завод. Дядя Павел, брат Витькиной матери, рассказывал о Магнитогорске. Он уехал туда работать горновым после того, как здесь, в родном городе, закрыли карликовые, нерентабельные старые домны. В первый раз после отъезда дядя Павел приехал на родину провести отпуск. Ему не было еще и тридцати лет, но мальчикам он казался стариком. Он держал себя солидно, пил водку равнодушно и крякал после каждой рюмки, как Витькин отец, пожилой пятидесятилетний мастер мартеновского цеха.

— Девушек на Магнитке мало, — говорил дядя Павел, подмигивая мальчикам, — все хочу жениться, а не на ком. Мы, доменщики, женихи разборчивые.

Витькин отец поглядел на жену.

— Не то что мы, мартенщики, — сказал он улыбаясь.

Мать ударила его чайным полотенцем по плечу:

— Ну-ка, повтори еще раз.

— Ничего не поделаешь, Танюша, — сказал дядя Павел, — мартенщики в отношении женского пола неразборчивый народ. Это всем известно. Недаром ихние печки мужским именем наречены.

Он помолчал, выпил, закусил балыком. Тяжелые ночные бабочки прыгали в воздухе вокруг лампы. Птицы во сне шевелились на ветвях старых лип.

— А время идет, — снова заговорил дядя Павел, — даже ты, Танюша, постарела. Определенный факт. И наглядный показатель: молодое поколение растет, — он кивнул в сторону Витьки, худого, остроносого мальчика, с белой, недавно остриженной под нулек головой, и спросил: — Ты как, Витька, по доменному делу пойдешь или тебя все-таки больше мартен привлекает?

— Я не знаю, — сказал Витька, — я еще не решил.

— А ты решай скорее, — сказал дядя Павел. — Доменное дело — это основа всему. Ты смотри — даже государство узнают по чугуну. Мартен, конечно, тоже имеет значение, но все-таки это музыка уже не та. Возьмем, например, мельника и кондитера. У кондитера работа чище, а у мельника зато почетнее. Его дело — основа, а не наоборот. Так и у нас. Верно я говорю, Степан Петрович?

Отец усмехнулся. Ему было лень спорить с дядей Павлом о том, что главнее для государства: чугун или сталь. Дядя Павел был уже сильно пьян, раз говорил так много. Доменщики народ молчаливый, а дядя Павел был настоящий доменщик. Мальчикам было смешно. Они перемигивались, хихикали, подталкивали друг друга локтями. Вчера они вернулись из пионерского лагеря и на рассвете, первый раз в этом году, собирались на рыбную ловлю. От дома Шандориных было ближе к пруду, здесь же хранились весла и вся рыболовная снасть. Борис пришел с вечера, чтобы переночевать у Витьки и завтра спозаранку выйти на пруд.

Борис, большой медлительный парень, был на два года старше Витьки. Ему было уже пятнадцать лет, но учились мальчики в одном классе. Четыре года назад Борис болел скарлатиной и с тех пор плохо слышал. Уже и речь его делалась невнятной, и посторонние с непривычки едва понимали его. Учиться становилось все трудней, но Борис не хотел уходить из обычной школы, пока не совсем оглох.

Он знал, что скоро совсем оглохнет.

Ночь наступала душная, обещающая хорошую рыбную ловлю на рассвете. Мальчики легли в палисаднике перед домом. Долго они не могли заснуть, шептались, ворочались, шуршали сеном.

— Ты не спишь, Борька? — громким шепотом спрашивал Витька.

Борис с трудом разбирал его шепот, но в этот час мысли мальчиков были настолько близки, что он угадывал и те слова, которые не мог расслышать, и отвечал правильно.

— Я не просплю, — говорил он, — а ты грузила приготовил? Возьми у отца хотя бы дробинок. Мы их расплющим. А то будет лески сносить. В устье Медынки должно здорово клевать. В прошлый выходной Сашка Пахомов там вот такую щуку поймал.

Он показал руками в темноте, какая была рыба.

Потом мальчики замолчали, но еще долго не могли заснуть. То один, то другой приподнимались они на своих лежанках и трогали ржавую консервную банку с червями, которая стояла у них в ногах. Было приятно лишний раз убедиться, что все предусмотрено и готово к завтрашнему дню.

Первым проснулся Борис. Солнце еще не взошло. В тишине утра отчетливо слышался топот прокатных станов на заводе. Борис толкнул Витьку.

— Вставай, пора, — сказал он.

Витька приподнялся. потом повалился на подушку.

— Вставай, Витька! Что ты, проснуться не можешь?

Борис говорил громко, позевывая, мычащим голосом и поглядывал на небо, определяя погоду.

В окне дома появилась белая тень.

— Не проспали? — спросила Витькина мать.

Борис не услышал ее голоса. Он тормозил Витьку.

— Вставай, Витька. Уже поздно, — кричал Борис.

— Ты его по пяткам пошлепай, — сказала Витькина мать. — Пошлепай по пяткам! — закричала она громко.

Борис оглянулся. Она поставила босую ногу на подоконник и показала, что нужно сделать. Она смотрела, как Борис будит ее сына. В эту минуту, думая о том, что брат нашел ее постаревшей, она не могла себе представить, что она действительно постарела, что ее Витька был когда-то маленьким, что она была когда-то гораздо моложе. Ей казалось, что она всегда была такой, как сейчас.

Когда Витька проснулся, мальчики завернули подушки в простыни и потихоньку спустили свертки через окно на пол в комнату. Затем они вышли из палисадника и через двор, вокруг дома, пробрались в кладовку.

В кладовке стояли зимние рамы с засохшими на них кусочками замазки и клочками пожелтевшей ваты, оцинкованные ведра, ящики из-под гвоздей. Полки были уставлены жестяными и стеклянными банками, на стенах висели веревки, связки сушеных грибов, порванная рыболовная сетка, почерневшая от пыли. В углу стояли весла и удочки. Пахло здесь смолой, грибами, мышиным пометом, соленой рыбой. Сейчас, на рассвете, запахи казались таинственными — так, вероятно, пахло в трюмах кораблей.

Витька вынес удочки во двор, потом вернулся, отыскал в ящике из-под гвоздей кусочек свинца.

— Во, видал? — сказал он Борису.

Борис взял весла и уключины.

Они вышли на улицу. Улицы были темны и пустынные. У аптеки на лавочке спали куры. Мальчики шагали молча. В этот ранний час маленький захолустный городишко выглядел торжественно и незнакомо. Непрестанный шум завода, зарево над мартеновскими печами, лязг железа на погрузочной площадке, свистки паровозов говорили о вечной жизни на земле, о труде, о счастье. Хорошо было идти под этот далекий шум на рыбную ловлю по тихому городу.

В пустом, ярко освещенном подъезде горсовета с чугунной лестницей, которая вела на второй этаж, спал сторож на деревянном ящике. Гулко отдались в помещении шаги мальчиков. Под карнизом крыши проснулись голуби. Они заворковали, встряхнулись, с легким шорохом на тротуар скатились зернышки и крошки штукатурки. На деревьях проснулись и защебетали мелкие птички. Сперва одна неуверенно произнесла «туить», потом другая, и вот, когда мальчики подходили к пруду, уже во всех кустах заливались соловьи и щеглята.

Лодка была вытащена на берег маленького залива в том месте, где дорога из города поворачивала к бывшему монастырю. Борис вдел уключины, вложил весла, потом они вдвоем столкнули лодку на воду. Борис сел на весла. Витька, шлепая по мелководью, вывел ее на глубокое место и, оттолкнувшись, вскочил на корму. Борис принялся выгребать на середину пруда.

Дул встречный ветер, и, покуда Борис не выгреб на середину и не повернул, грести было тяжело, и лодка шла медленно. Пруд весь наморщился, у мостков разбивались

мелкие волны. Пока они плыли, Витька все время слушал топот прокатных станов на заводе.

Пруд был большой и старый. Устье Медынки находилось километрах в шести от города по прямой. Нужно было приплыть туда до восхода. Правда, и позже, часов до восьми, рыба клевала здесь неплохо, но хотелось, чтобы рыба ловилась совсем хорошо, потому что это была первая вылазка после лагеря в этом году.

На середине пруда Борис повернул, лодку стало покачивать, но зато она пошла быстрее, только приходилось все время забирать правым веслом.

Скоро должно было взойти солнце. Становилось светлей. Но сосны в той стороне, где должно было взойти солнце, оставались темными на светлом фоне неба.

— А ты знаешь, — сказал Витька, — я во сне вспомнил смешную историю про дядю Павла.

— Не кричи, рыбу распугаешь.

— Ну, сказал. — Витька переполз с кормы на скамейку — поближе к Борису и, согнувшись, громким шепотом заговорил: — Знаешь, в голодные годы сюда пригнали верблюдов. Кормить их, конечно, было нечем, и они скоро подошли с голоду. Их свалили за нашим домом. Дядя Павел был тогда пареньком, вроде нас с тобой. Смотрит он: на снегу вокруг верблюдов следы. Ну, конечно, волчьи. Вот он взял у моего отца капкан и поставил вокруг верблюдов.

Чтобы лучше слышать, Борис широко раскрыл толстогубый рот.

— А волки уже начали пададь есть? — спросил он.

— Не знаю. А что?

— А то, что тогда они наверняка дожирать вернутся.

— Не знаю. Ты слушай дальше, — перебил Витька. — Вот он поставил капкан, а на другой день рано утром пошел посмотреть и еще издали увидел, что волк попался. Он пошел в дом, взял берданку. Сам страшно рад, что волка поймал, но боится — вдруг волк вырвется, да на него. Подошел к изгороди, прицелился, потом вдруг замечает: волк что-то странного цвета. Пегий какой-то. Он тогда перелез через изгородь, подходит ближе, а волк этот как завизжит, а потом как залает...

— Не может быть, — удивился Борис.

— Да ты слушай, это наш Рыжик в капкан попался. Дядя Павел собачьи следы принял за волчьи. Здорово?

— Ну, уж и здорово. Что он, раньше, проверить не мог, чьи следы? — презрительно заметил Борис.

— Он дурной был, — догадался Витька, — как сейчас. А ты голода не помнишь?

— Ясно, нет. А почему ты говоришь, что дядя Павел дурной?

— А ты разве не заметил? Доменщик, а столько треплется.

— Так он пьяный был.

— Все равно трепаться не должен.

— Это верно, — сказал Борис. — Смотри-ка, восход начинается.

Витька обернулся. В просеку на той стороне пруда медленно вползало солнце. Розовато-желтые его лучи пробивали стволы высоких сосен, стоявших на берегу. Весь пруд покрылся желтыми блестящими пятнами.

— Как раз поспеем, — заметил Витька.

— Немного опоздали, — возразил Борис.

— А знаешь, — доверительно сказал Витька, — я ни мартенщиком, ни доменщиком не буду. Я буду радиотехником. Это гораздо интереснее.

— Это хорошее дело, — сказал Борис. — Мне радиотехником нельзя. Я скоро совсем оглохну.

— Ну, а кем ты будешь?

— Я? Я буду летчиком.

— Это шикарное дело. — Витька помолчал. — Ну, а слух, думаешь, тебе не помешает?

— Слух! В летном деле это не так важно. Там главное, чтобы нервы были крепкие и зрение хорошее. Это главное всего.

— Ну, все-таки, знаешь, и слух нужен.

— Нужен-то нужен, но не так. Мотор все равно так гудит, что ни черта не слышно.

Некоторое время мальчики плыли молча. Ветер прекратился. Поверхность пруда разгладилась и медленно переливалась, поблескивая отсветами солнца. Они подплыли к устью Медынки. Здесь было мелко. Сквозь чистую воду ясно виднелся желтый песок на дне. В устье реки плеснула большая рыба.

— Тише давай, — прошептал Витька.

Борис осторожно повернул лодку направо и между двумя мелями подгреб ближе к берегу. Там он положил весла на борт. Витька осторожно спустил в воду

два кирпича на веревке, заменявшие якорь. Они разматывали удочки, наживили червяков и забросили.

— Знаешь, Борька, я придумал шикарную штуку. Я читал в одном журнале, что если слуховые нервы не совсем повреждены, то можно научиться слышать, даже если ты совсем глухой.

— Ну да? — сказал Борис.

— Честное слово. Нужно только сделать такой специальный телефон, и тогда через него можно слышать, что говорят.

— Как же можно слышать, если ты глухой?

— В том-то вся штука, что через телефон слуховые нервы, даже если ты глухой, все равно могут получать звуковые колебания. Я это читал.

Борис недоверчиво покачал головой.

— Если ты глухой, — сказал он, — как же ты можешь слышать?

— Ну вот, я тебе говорю. Я про это читал. И, понимаешь, что нужно сделать? Телефон можно надевать под шлем. Так Водопьянов летал на Северный полюс. У него под шлемом был телефон, и он переговаривался с другими кораблями. Всегда можно найти какой-нибудь выход. Понимаешь, я тебе сконструирую такой телефон, когда буду радиотехником, и ты сможешь шикарно летать.

Борис посмотрел на Витьку.

— Это здорово. Конечно, если ты про это читал. Но только, знаешь, не передумай. Иди обязательно в радиотехники.

— Ну, ясно, раз я сказал.

Плеснула большая рыба. Витька поднял удочку, переменял червяка и забросил снова.

— Мы это сделаем, Борька, — сказал он, — а то дядя Павел требует: решай скорее, кем ты будешь. Как будто это скоро и решишь...

— Это верно, — сказал Борис, — смотри только, не передумай.

Речные просторы

От своего отца Гурий Чикин унаследовал редкую и верную специальность: он был мастером цветного литья. Фасонное литье из цветных металлов, составление сплавов и раскислителей, наращивание металлов, иначе говоря, омеднение или там никелировка, или оксидировка и прочее такое требует от человека большого разума, точного глаза, верной руки. А если взять литье земляным или восковым, иначе говоря, итальянским способом, так и тем более.

К реке и речникам Гурий имел чисто любительское касательство: жил на берегу Имгыта, с давних пор страстно рыболовствовал, все свободное время проводил на реке, отсюда — давнее и близкое знакомство с Чижатниковым, с бакенщиком Миловановым, а потом и дружба. Сколько рассказано всяких баек в бакенщицкой сторожке! Сколько рыбы выловлено в старицах и затонах! Сколько километров исхожено в яликах да ботничках по Имгыту!

Но характер! Надо же, чтобы у человека был такой несносный характер, источник всех его бед и злоключений.

Скажем, подошел мастер, сделал замечание: форма плохо промазана графитовыми чернилами.

— Не ндравится? Попреки? А совсем без графитовых чернил не желаешь? Люди не делали, а я сделаю — и утрешься!..

Обиден ли попрек, нет ли, но Чикин уже чешет как заведенный:

— Да будет тебе известно, от графитовых чернил один вред для отливки, ничего больше! Графитовые чернила —

это углерод, а углерод нам лишний. От него рост металлу, тебе понимать надо. Пухнет металл вроде теста на дрожжах, изделие выходит рыхлое. Имеешь об этом понятие или нет?

И пошло, и пошло, и слова никому не даст вставить поперек.

— Мастер ты или не мастер, а я своим опытом знаю и опытом своего отца и своего деда: лишний кислород оставим — пойдут равнины, чуть загрязним плавку — начнется кипение, имеешь ты понятие или нет?

Мастер в ярости:

— А ну молчать! Делай как приказано. Интересны мне твои рассуждения!..

Но остановить Гурия уже невозможно: мастер ты или не мастер, а моему нраву не перечь!

— Да ты о красной меди имеешь понятие? Ничего ты не знаешь, одно название — мастер. С чем рубелию едят, противокислотную бронзу, соображаешь? А художественное литье со сдачей по химическому и механическому анализу можешь? Видать, ничего ты не понимаешь, вот такая песня, мастер ты или не мастер!..

И грубостям, в хмурой замысловатости которых Чикин не знал себе равных, нет числа.

Кто удержится, промолчит в ответ на весь этот гам и безобразие? Слово за слово, и первым не выдерживает накала Чикин: летят в сторону рукавицы, сбрасывается суконная шапка с очками, срывается с пояса брезентовый фартук, и не мастер, а он, Гурий, летит к директору с жалобой.

— Я мастер художественного литья, а тут какие-то затычки отливать! Этому вам хоть заяц научится. Поставили надо мной чучело, что он может понимать?!

— Поймай, Гурий!.. Подожди! Что ты со всеми воюешь? Иди, работай, напишешь докладную, разберемся, — увещевает его директор, зная, что после работы так и будет: Чикин засядет писать обстоятельную кляузу.

Чикин, как всегда, писал директору докладную на десяти страницах, добивался, что формы переставали мазать графитовыми чернилами, — у него отливки получались удачнее, а у других мастеров шел брак. А там новая ссора с мастером, опять жалоба директору, опять докладная на десяти страницах... Ну и характер — склочник и скандалист, вот он кто! Расплюется со всеми на заводе, ух-

дит — черта с два заманите меня обратно!.. И тогда с утра до вечера бродит по косоурским дворам:

— Ведра, кастрюли паять, па-ачиняем!..

Проходила, однако, неделя, другая, и Чикин возвращался на завод. Он не мог жить без своего дела, без зеленого, как в преисподней, огня над тиглями с расплавленной медью, без людей, толкущихся рядом со своими формами, своим литьем... И завод нуждался в редком литейщике. Месяц-два Чикин работал безмолвно, не перечил мастеру, спасал срочный заказ, справлялся с литьем, которое у других литейщиков сплошняком шло в брак. А затем срывался — и новая ссора то с мастером, то с цеховым инженером, новая дурь или блажь, новый разговор с директором.

Не владея собой от бешенства, директор кричал ему, показывая на сейф:

— Тут он, твой последний доклад! Хранится!.. Да я его выну, пойду в райком, ты со стыда сгоришь! Ведь однажды нервы не выдержат, расстанемся мы с тобой, Гурий, навсегда!..

Так и произошло однажды. На этот раз Чикин ушел с завода разобиженный вконец. Ну, теперь все. Больше ноги его здесь не будет.

Он шел с завода, не видя ничего перед собой от ярости.

Было лето, от жары плавился асфальт, пыль крутилась по улицам.

За низким строением деревянных домов на правой стороне улицы лежал Имгыт, и даже в этот чертов день из проулков, ведущих к реке, тянуло прохладой. Солнце склонялось к западу, било в глаза, река нестерпимо сверкала, на нее было больно смотреть.

Дом Чикина стоял в углу безымянного проулка. В его проем видны были спуск к реке, мостки для стирки, на которых три женщины в подоткнутых юбках полоскали белье, несколько лодок, прикованных к причалам, в том числе и лодка Гурия. Все это перекрывала сверкающая стальная лента Имгыта, такая большая и широкая, что она, словно выгнутая, вздымалась выше берега, мостков, лодок у причала. Противоположный берег, низкий и плоский, был едва различим от блеска солнца и жаркого марева, поднимающегося над водой.

Чикин остановился, поглядел на реку. В его лодке сидела Ляля Степанова в белом платье с синими обор-

ками и широким синим поясом и, что-то приговаривая, вывязывала алый бант на шее пегой Дамки, терпеливо и покорно стоящей на задних лапах на песке. Чикин увидел их и представил себе, как Дамка от блаженства глотает слюну и прядает ушами, умильно поглядывая на девочку, и подумал: до чего хорошо у нас на реке!..

В ту кратчайшую минуту, когда Гурий так думал, где-то в глубине сознания, как бы задним умом, он решил, что к черту все горести, он сейчас пойдет на ту сторону с Ляленькой, с Дамкой, пошныряет в затонах... Дамка глянула в сторону хозяина, рванулась из рук девочки и стремглав понеслась навстречу. И Чикин с удивительной отчетливостью почувствовал, как осели и точно растворились в нем и вся его ярость, и все его озлобление. Да пропади они пропадом, эти житейские огорчения! Здесь, на берегу реки, такой огромной и спокойной, нет места волнениям, невздам, печалям. Он любил Дамку, лодку, Лялю Степанову. Сейчас они пойдут в лодке на ту сторону, где, кроме них, никого нет на всем берегу, если не считать, конечно, бакенщика Милованова и его дочку, а чего их считать, если от них не может быть никакого притеснения.

Дамка добежала по песку к Чикину, с любовным визгом подпрыгнула и с ходу лизнула в губы.

— Здравствуй, моя лапушка, здравствуй, милая, — засюсюкал Гурий и, не вытирая губ после собаки, присел на корточки и обнял ее.

Довольно повизгивая, облизываясь, улыбаясь своей милой, непридуманной собачьей улыбкой и часто-часто глотая слюну, Дамка победоносно оглядывалась в сторону Ляли и крутила изо всей силы хвостом, чтобы до конца высказать свою радость.

Не меньше Дамки обрадовалась Чикину и Ляля. Она только не умела так непосредственно выражать свое чувство, хоть и была маленькой девочкой. Она закричала пронзительно и, выпрыгнув из лодки, побежала к нему, как Дамка.

— Дядя Гурий, поехали кататься! Поедем, правда?

Огибая серовато-зеленые кусты прибрежного тальника, к ним приближался Павлик Кикоти. Каждую минуту он приостанавливался, чтобы на пробу закинуть удочку, и снова брел, вглядываясь в воду, словно надеялся на глаз определить, где должно лучше клевать.

— Дядя Гурий, смотри, и Павка здесь. Возьмем Павку? — И, не дожидаясь ответа, Ляля отчаянно закричала: — Па-в-ка-а! Едем кататься!

Чикин взглянул на Павла, и его осенила удачная мысль.

— Михайло Васильевич на реке? — спросил он мальчика.

— Час назад повез какого-то рыбака к Миловановым.

— Пошли и мы! Айда! — сказал Гурий.

Что все неприятности и невзгоды? Суета! На кой черт ему литье из красной меди, бронза по Рюбелю, раскислители, споры с мастером, ругань с администрацией. Не умеют ценить человека — он найдет, чем жить...

На душе у него стало торжественно и спокойно. Разве не глупо жить на таком просторе, а дышать литейной копотью и газом?! «Поговорю сейчас с Чижатниковым, как-никак — начальство, мигом обтяпаем дело, какие могут быть сомнения, мы с Михайлом Васильевичем старые друзья, он с радостью зачислит к себе в бригаду речников...»

И в эту минуту, когда, казалось бы, Чикин нашел верный выход, сердце его сжалось от непонятного страха — болван чертов, что ты натворил? Ты что, с ума сошел, как ты будешь жить без завода?.. На минуту представил себе, как встанет утром, наскоро умоется, пожует чего-нибудь на ходу, чтобы не бежать на тощий желудок, и... И некуда бежать! Да что он, пенсионер какой-нибудь или инвалид? Парень, полный здоровья и сил!.. Потомственный литейщик цветного литья. И не чувствовать, что ты нужен для дела, что тебя не спросят, как поставить стревеля и не следует ли добавить в тигель олова или лучше удалить лишний кислород «дразнилкой» и все такое прочее. Не чувствовать жара, поднимающегося от разливочного ковша, не дышать угарным воздухом литейной...

Никогда с такой ясностью Чикин не чувствовал, что не может жить без завода. В глубине души всегда был уверен: подумаешь, дело, немножко человек поскандалил придет время, и он вернется на завод!..

Впервые теперь почувствовал, что переиграл. А что если заводские ворота больше для него никогда не откроются?

Дети уселись вдвоем на весла, лодка все дальше уходила от берега, а Чикин сидел и думал, что без завода

ему никак нельзя. Как можно работать на реке? Река и все, связанное с ней, хороши для отдыха, для баловства. Пришел, когда хочу, ушел, когда вздумается, — в этом твоя радость. А понравится ли тебе, если река станет обязанностью?

Лодка подходила к противоположному берегу. Уже видны были Чижатников, отдававший распоряжения Милованову, и с ними незнакомый человек, моторка у причала, сваленные возле бакенщицкой сторожки свежевывкрашенные запасные обстановочные знаки...

Чикин высадил детей, велел им бежать к сторожке бакенщика. Сам он немедленно должен был вернуться на завод. Сейчас ему казалось, что он не сможет дотянуть до завтрашнего дня, если не объяснится с заводским начальством, если не скажет, что с дурью теперь кончено. «Уж если я дам слово, они поверят. С кем не бывает: ну, осерчал, ну, поскандалил», — думал он, изо всей силы налегая на весла.

Буровая на море

Неужели человеку выпить нельзя в день своего рождения, когда ему исполняется тридцать пять лет и ни годом меньше? Человек работает, скажем, месяц подряд. Он встает, скажем, в пять и ложится в час и по трое суток не бывает дома. Он спит за столом, и в будке, позади мотора, у него серьезная скважина, за ней надо хорошенько следить. Неужели такому человеку нельзя поразвлечься и немножко выпить в день своего тридцатипятилетия?

Кузнецов ударил кружкой по мрамору и сказал подбежавшему официанту:

— Надо повторить.

Музыканты усердствовали под тремя пальмами в деревянных кадках. Первая скрипка был лыс и играл согнувшись, точно у него нестерпимо болела поясница. В пивной дымно и шумел народ.

Кузнецов пил не просто так. Он пил по-настоящему, с горя. За целый месяц у него был один выходной день, он немножко выпил в честь своего маленького юбилея. Виданное ли дело увольнять за это хорошего бурового мастера? Форменная ерунда. Такие мастера на промыслах не валяются. Правда, он взял выходной, не предупредив администрацию, а скважина была у него серьезная, но ведь у бурового мастера ненормированный день, и он хозяин своему времени. Чертовская обида мучила Кузнецова. Чертовски несправедливо. Он мастер что надо, и никогда за ним не было таких штук, как пьянство. Один только раз человек хотел поразвлечься в день своего рождения, невиданное дело за это увольнять. Наверняка против него в управлении кто-то имеет крепкий зуб.

Кузнецов пил уже не первый день и был все время пьян, потому что противно было смотреть людям в глаза в трезвом состоянии. Ему было стыдно, он пил со стыда и до тех пор, пока оставались деньги. А когда все деньги вышли и пить было не на что, он взял и завербовался на Сахалин, — будь все трижды проклято.

Детей пораньше уложили спать. Пришли ребята. Кузнецов поставил закуску. Жена все время плакала, точно он уезжает бог знает куда. А ребята выпивали и закусывали хлебом с балыком, а также острым тушинским сыром и говорили:

— Ничего, Егорка, на Сахалине тоже люди живут.

Сахалин был далеко.

Кузнецов ехал по стране на Сахалин мимо сел и городов; были праздники, на домах висели красные флаги, точно сильным ветром осыпало села и города розовыми лепестками, и от жесткой полки у него болел бок.

Во Владивостоке Кузнецов пересел на пароход и поехал на Сахалин. А там ему, мастеру вращательного бурения, предложили идти в партию рабочим. Кузнецов, конечно, отказался. Он буровой мастер и пробурил на своем веку девять скважин — стоило ехать на Сахалин, чтобы стать рабочим в партии ударного бурения. Тогда Кузнецову предложили вернуться во Владивосток — там нужен приемщик инструмента для вращательных станков. Кузнецов обиделся еще пуще прежнего, он мастер, а не приемщик и ехал сюда бурить, а не заниматься штучками в управлении, и назло всем пошел в портовые грузчики. И когда заработал денег на обратную дорогу, сел в поезд и вернулся в Баку.

Жена, конечно, обрадовалась его возвращению и собрала его в баню, а Кузнецову было все равно.

Утром на другой день он пошел в управление промысла, и щупленький, близорукий секретарь директора сказал ему:

— Нет места.

Тут же Кузнецову предложили идти в Сураханы, но на Бухте он работал с двадцать второго года и знал каждую буровую как облупленную, и каждого парня на промысле видел насквозь, и в Сураханы Кузнецову не хотелось. Он дождался заместителя директора. Заместитель сказал ему:

— Сейчас в самом деле нет буровой, Кузнецов; но ты можешь замещать мастера, который идет в отпуск, а потом посмотрим.

Предложение было, конечно, очень обидное, но ничего не оставалось делать, и Кузнецов согласился. Через полтора месяца тот мастер вернулся, и Кузнецов снова пошел в управление просить скважину. Кто-то наверняка имел против него крепкий зуб. Ему сказали: нужен мастер на морскую буровую. Буровая эта разведочно-эксплуатационная, идет на Понт, на глубину две тысячи метров — весьма ответственная скважина. Конечно, такую не предложат от чистого сердца. Поищите охотника бурить в море. Так вам всякий и пойдет на морскую буровую в шестистах метрах от берега. Она должна буриться год. Это ведь разведочная — бури и щупай, бури и щупай, как там у тебя лежат пласты. Работа опасная. В случае фонтана можно бежать только в спасательные будки, стоящие в десяти метрах от буровой. К ним ведут легкие висячие мостки. А если фонтан загорится? Считается, что ты убежишь в спасательную будку, обрубив за собой висячий мостик и будешь сидеть там, пока тебя не снимет баркас. Но это форменная ерунда. Разве не ясно малому ребенку, что в случае пожара загорится все море вокруг вышки, — поезжайте посмотреть на траурную пленку нефти вокруг морской буровой, — и твоя спасательная будка сгорит вместе с тобой, как спичечная коробка. Кроме того, на морскую буровую нужно ехать на баркасе, терять зря уйму времени, большая волынка подвозить оборудование и за все это получать одну зарплату в месяц и никаких надежд на премию, потому что спешить и гнать проходку не приходится. А на берегу буровые мастера выгоняют вдвое больше.

Но обиженному человеку податься некуда. Такое твоё счастье. Хочешь работать — бери, что предлагают, и будь доволен — назло себе и всем. Пусть знают, что тебе на все наплевать, раз такое отношение.

Утром к Северной пристани подошла вахта. На вагонетке подвезли «рыбий хвост» — долото. Кузнецов показал на него и сказал Абрамову, командиру баркаса:

— Раков ловить на него — это еще дело...

— А что такое? — спросил Абрамов.

Кузнецов махнул рукой и начал помогать ребятам спускать долото на корму «Пугачева».

Абрамов позвонил машинисту, и, тарахтя, как мотоциклета, баркас развернулся и вышел в море.

От Северной пристани до буровой километра полтора. Вода в бухте была зеленая и грязная. Слева стояла землечерпалка, а справа, на берегу, лежали старые и ржавые паровые котлы. Баркас был кособок. Машинист поминутно высовывался из машинного люка и кричал бурильщикам, чтобы они не толпились по бортам, а шли на корму. Бурильщики усердно курили и сплевывали за борт. Кузнецов стоял на носу и смотрел в море, в даль, где белым гребнем поднимался Свиной остров.

Говоря по совести, несмотря на все страхи, работать на морской буровой было приятно. Начальство на буровую не показывалось, Кузнецов работал как хотел. Он был полновластным начальником деревянного острова, где стояла вышка, у него был свой флот — два баркаса: «Пугачев» и «Полюс», а также несколько кержимов — плоских, но пузатых барж. Летом на буровой была настоящая дача. После вахты бурильщики прямо с мостков ныряли в море, а потом ехали на Свиной остров за яйцами «мартышек». «Мартышки» — это такие смешные птицы, которые при виде людей закатывают яйца в глину, чтобы их нельзя было найти, и с громким криком поднимаются в воздух. Яйца «мартышек» были вкусны, и, несмотря на хитрости птиц, один человек за несколько часов без труда собирал до трех сотен на яичницу. Во время вахты можно было ловить раков. Раки хорошо шли на селедку — положишь в решето селедку, спустишь на веревке в воду, сам работаешь, а к вечеру поднимешь — решето полным-полно раков. А к пиву раки вполне подходящая закуска.

Но теперь дача кончилась. «Мартышки» перестали класть яйца. Раки уползли на зимовку. Дул холодный ветер.

Баркас обошел вокруг буровой. Машинист выключил мотор. Нестерпимая дрожь палубы, от которой в первые дни у Кузнецова ныли зубы, прекратилась. На холостом ходу баркас подошел к мосткам, и матрос уцепился багром за сваю. Кузнецов выскочил первым и крикнул в буровую:

— Эй, хлопцы, идите долото тащить.

Снизу долото уже поднимали. Подбежал бурильщик Гришин.

— Руда привез? — спросил он Кузнецова.

— Дали мне Рида... — скривился Кузнецов.

Гришин плюнул и пошел назад.

Они проходили крепкие грунты. Простым долотом «рыбий хвост» нельзя было идти больше трех метров в сутки. Здесь нужно было фасонное долото, долото Рида. Кузнецов ходил в контору, но ему сказали, что Рида нет, для его морской буровой вполне достаточно «рыбьего хвоста».

— Ничего не попишешь, — сказал Кузнецов бурильщику, — мы пасынки. Деточки у них на бережку за нефтью идут.

Отчасти Кузнецов был прав. К разведочному бурению на берегу действительно относились равнодушно. Все силы и средства в первую голову шли на скважины, которые бурились для эксплуатации.

Но Кузнецов, обиженный человек, думал, что так относятся только к нему, и назло всем бурил тем, что есть. «Рыбий хвост» так «рыбий хвост» — три метра проходили в сутки.

Однажды ночью налетел буран.

Загремело корыто на веранде, завизжали стекла в тех окнах, которые выходили к морю. В соседском свинарнике проснулась матка и, хрюкая, застучала пяточком о доски.

Кузнецов вышел в одном белье на веранду. Холодный ветер бросал в лицо колкий снег, песок, мусор. Буран шел с моря. На море заревели пароходные сирены.

Кузнецов вернулся в комнату и начал одеваться.

— Куда тебя несет? — спросонок спросила жена. — К утру, может, полегчает. Ложись, спи.

— Ладно, — сказал Кузнецов, — сам знаю.

Спеша, он неудачно навернул портянку, но перематывать не стал и надел сапог. Край портянки вылезал из голенища. Кузнецов запихнул его внутрь.

На крыше трещало железо. На веранде гремело оледеневшее белье. Небо висело низко, непроглядно черное, как погреб.

Во многих окнах на Баилове горели огни, кое-где шумели газовые форсунки. Мастера собирались к буровым. Кузнецов шел к спуску, почти ложась на плотную стенку ветра. Портянка вылезла из голенища и стегала по ноге.

У Северной пристани ветер бил еще сильнее. Снег, подсвеченный огнем маяка, был розов, но свет маяка таял в сотне метров, и даже зарева не было видно.

Море шумело и катало камни у берега. Баркасы стучались о сваи, и волны с грохотом ложились на окованные железом палубы.

— Чего тебя принесло? — окликнул Кузнецова механик баркаса. — На судне один Абрамов сидит.

— Морячки, — сказал Кузнецов и вошел в будку. В будке было тесно и тепло. Люди с баркаса спали на лавке. Кузнецов взял телефонную трубку, но станция ответила, что к буровой оборваны провода, связи нет.

— Там не маленькие, слава богу, — сказал механик. — Чего тебя черти кусают?

Буран застал вахту врасплох. Он ударил в обшивку вышки, затрещали легкие мостки, переброшенные к спасательным будкам, запрыгали, волны начали бить по сваям. Буровая стонала. Летел снег. Раствор в желобах начал замерзать. Гришин приказал поднимать инструмент. Но в это время порвалась электрическая линия, мотор остановился, погас свет. Море шумело, и волны падали на помост.

Верховой Петренко спустился с полатей по обледенелым ступенькам. Он дрожал от холода и с трудом ворочал окоченевшими пальцами.

— С праздничком, — сказал он сквозь зубы и пошел в будку позади мотора.

Гришин ругался. Теперь они будут здесь сидеть. Электрическая печка не действовала. Телефон молчал. Всем сразу захотелось есть, а пайка аварийного на вышке не было.

— Давайте играть в домино, — предложил Гришин.

Петренко пробурчал, что играть нельзя, ни черта не видно. Но Гришин уже рассыпал костяшки по столу и ощупью отобрал себе пять штук.

— Пальцами можно очки считать. Они вдавленные, — сказал он.

Каждая партия домино длилась долго. Ругаясь и путая очки, — замерзшими пальцами трудно было считать, — они играли партию за партией. Буран ревел и свистел в переплетах вышки. Вышка качалась и скрипела.

Рассвет наступал очень медленно. В окно были видны бесившиеся на море молочные волны. Всем хотелось есть, а есть было нечего. Все замерзли, а согреться было нечем. Снег падал, не переставая. Помост занесло, по краям его

омывали волны — снег лежал в серой мокрой рамке. Смотреть на это было противно.

Петренко нашел в инструментальной старое ведро, обмазал его глиной и сделал печку. Топили досками и стойками от барьеров, но грела печка плохо, и ребята прыгали в будке, чтобы согреться. Рабочий Джалил сказал, что это ему напоминает шахсей-вахсей, но от этого никому не стало весело.

Кузнецов всю ночь просидел в сторожке на Северной пристани. Утром пришла смена, и баркас пошел к буровой.

Буран не уменьшился. Баркас заливало волнами. Вся вахта ушла в каюту. Кузнецов спрятался в рубку к Абрамову и видел, как волны расшибались о задраенные люки, с грохотом проносились через баркас.

К буровой они добирались часа два. Баркас немилосердно бросало на волнах, и у тормозчика Кардакина началась морская болезнь. Над ним посмеивались, но ему было все равно, и он напачкал на полу каюты.

Пристать к буровой, когда они наконец до нее добрались, не было возможности. Волны то возносили баркас на много выше помоста, то опускали так низко, что видны были нижние части свай в зеленых чулках, и короткая мачта баркаса чуть не протыкала дощатый настил.

Ребята гришинской вахты, прыгая от холода, смотрели на баркас. Лица у них были в копоты от самодельной печки, они походили на беспризорных, ночевавших в асфальтовом котле.

Абрамов заявил, что, пока баркас не перевернулся, лучше пойти назад. Идти назад было еще трудней. Ветер бил навстречу и залеплял снегом стекло рубки. Они долго искали бухту и чуть было не налетели на камни, потому что ни черта нельзя было разобрать.

Ребята на вышке вернулись в будку. Гришин молча подкладывал щепу в печку. Он думал, что Кузнецов свинья, не привез шамовки, отвратительное дело сидеть в буран на морской буровой, скважину теперь наверняка завалит, инструмент прихватит, сколько времени уйдет на его ловлю.

У пристани баркас поджидал Садыков.

— Сменил ребят? — крикнул он Кузнецову.

Кузнецов вылез на пристань и угрюмо ответил:

— Подойти к буровой нет возможности.

Садыков покачал головой.

— Ай, нехорошо. Придется ребятам сидеть на сухом пайке.

— Корки хлеба на буровой нету, — сказал Кузнецов.

— Как нету? А паек аварийный?

— Нету на буровой пайка.

Садыков стал красный и начал кричать. Он кричал, что Кузнецов плохой мастер, — но это форменная ерунда, все можно сказать про Кузнецова, но только не это — что ему нельзя было давать такую ответственную буровую, — это все была форменная ерунда, он всегда бурил ответственные скважины.

— Иди сейчас же в столовую и вези ребятам хлеб и колбасу.

Крик Садыкова не обидел Кузнецова. Он его удивил. Кузнецов пошел в столовую, взял по записке хлеба и колбасы, и баркасу снова пришлось идти в море. Абрамов говорил, что им сегодня не миновать купанья. Но Кузнецов пошел к носу и, когда баркас приблизился к буровой, стал бросать ребятам хлеб и смотанную в спираль полтавскую колбасу. Буран кончился через два дня.

Скважина оказалась в порядке, инструмент не прихватило, и в скором времени подоспел срок задавливать обсадную колонну. На кержихах Кузнецов подвез трубы и выгрузил на помост.

Спуск обсадной колонны — спешная работа. Это аврал. Из скважины поднят инструмент, циркуляция раствора прекращена, промедление угрожает скважине обвалом. Как правило, для спуска колонны с соседних буровых снимается на подмогу три-четыре вахты. Управляющий группой Садыков позвонил на буровую Кузнецова и спросил:

— Когда прикажешь присылать ребят?

Кузнецов промолчал, посмотрел на Гришина, стоявшего рядом, и вдруг ответил:

— Я обойдусь сам.

— Ты шутики оставь, — сказал Садыков.

— Мир Садых, я задавлю колонну сам, — ответил мастер.

— Кузнецов, не шали. Послезавтра я пришлю ребят. Кузнецов положил трубку.

— Не надо нам вашей любезности, — сказал он хмуро.

— Зря ты, Егор Сергеевич, — заметил Гришин, — опасная вещь.

— Я отвечу, понял? — закричал Кузнецов. — Завтра к девяти часам на буровой будет вся партия, все четыре вахты. Понял? Мы опустим колонну без чужой любезности.

Когда колонна была благополучно задавлена и вахта начала опускать инструмент, Кузнецов сообщил в контору, что все кончено. Садыков рассердился и приказал прислать баркас к молу, возле конторы. Он приедет на буровую проверять. Кузнецов криво усмехнулся: в нормальные дни сюда и техник не покажется.

Садыков приехал к расширению скважины. Он ловко вскочил на помост и пошел к ротору. Бурил в это время Сергей Беляев. Он не остановил ротора, тормозчик ушел к насосу. Садыков подозрительно оглядел буровую. Если бы не цементные брызги, он готов был бы держать пари, что его дурачат — колонну не опускали, и все это только один разговор.

— Колонну заливали или нет? — спросил он бурильщика.

Беляев посмотрел на него, словно не понял, о чем Садыков спрашивает.

— Колонну? Вчера задавили колонну, а что? — сказал он равнодушно.

— Где Кузнецов?

— Спит, наверное, в будке.

Садыков хотел пойти в будку, но Кузнецов, позсывая, вышел из-за мотора ему навстречу.

— Как давление? — спросил Садыков и посмотрел на то место, где должен был находиться манометр. Но манометра на месте не было. — Где же у тебя манометр?

— Манометра у нас нету, — сказал Кузнецов.

— То есть как нету? А как же ты буришь, черт возьми?

— Нет манометра, не дали. По шланге видно, какое давление.

Он показал на вздрагивающую и покачивающуюся, похожую на птичью шею, шлангу над головой.

Садыков выругался и быстро пошел к баркасу. Кузнецов последовал за ним. Он ему сейчас все скажет. Он скажет ему, что надоело такое собачье отношение, мастер он на группе или нет, давайте говорить всерьезную. Но вместо этого Кузнецов сказал, что до сих пор монтажники не установили второй насос, а забой глубокий, и скоро по геологическому разрезу они будут проходить газовые пласты — опасно работать с одним насосом.

— Так чего ты молчишь? — закричал Садыков. — Что тебе, нянька нужна? Откуда я знаю, есть у тебя насос, или ты вообще без насоса буришь?

Кузнецов разозлился.

— Вы ничего не знаете. Выходит, вы только у себя на берегу заведующий, а тут чужой дядя хозяин. Я вот пятый день Рида не могу получить, по три метра в сутки идем. Скворец¹ испортился, хоть бы монтера прислали.

— Ты на меня не кричи, мастер Кузнецов, — сказал Садыков, — я тебе не извозчик. Твоя буровая, ты за нее ответственный, так будь добр докладывать, что тебе нужно и чего тебе в отделе снабжения не дают. А тогда я с ними буду разговаривать. То у тебя пайка нет, то манометра не дали, черт тебя знает, ты невеста или мастер.

Он повернулся и прыгнул в баркас.

Кузнецов стоял растерянный и не знал, что подумать. Не может быть, чтобы он ошибался и все эти горькие мысли оказались форменной ерундой. Неужели по своему дурацкому характеру он сам все это выдумал? Кузнецов медленно пошел на буровую.

— Что, проглотил? — спросил его, ухмыляясь, Беляев.

— Иди ты... — сказал ему Кузнецов.

Он подошел к желобам. Густой серый раствор бежал по ним. Буровая дрожала. Грохотал ротор. Кузнецову было не по себе.

Буровая мастера Погосова тоже бурилась на Понт, на глубину около двух тысяч метров, и отличалась она от буровой Кузнецова только тем, что стояла на суше. Но на этой разведочной буровой, впервые на промысле, а может быть, во всей Азнефти, был установлен пневматический пульт управления. Бурильщик здесь не стоял у лебедки и не держал ногой тормоза, а локтем — рукоятки. Он сидел в седле, в стороне от лебедки, перед ним была вся буровая — и ротор, и лебедка, и мотор. Он отдыхал на удобном сиденье, перед ним на пульте были амперметры и манометры. Он нажимал кнопки, поворачивал рычажки, и сжатый воздух проделывал за него всю работу, которую приходилось делать, стоя у лебедки. А у лебедки стоять довольно опасно. Чуть зазевался, выпустил из рук рычаг — канат рвануло и рычаг полоснет — прямая дорожка в больницу.

¹ Скворцом на промыслах называют автоматический бурильщик конструкции проф. Скворцова.

Кузнецов вызвал баркас и съехал на берег у конторы. Через пять минут у мастера Погосова он разрешит все свои сомнения.

Погосов сидел у пульта как вагоновожатый. Ротор шумел, квадратная штанга быстро вращалась, и создавалось впечатление, что штангу скручивает в спираль. Погосов отвел рукоятку, зашипела пневматика, кулачок передачи ударил тормоз у лебедки, и ротор остановился.

— Как дела? — спросил Погосов Кузнецова.

— Мне твоя машинка нравится, — сказал Кузнецов.

— Еще бы! — засмеялся Погосов.

— Скажи, пожалуйста, при аппарате Скворцова нужна такая машинка или ни к чему?

— Один другому не мешает, — сказал Погосов. — У меня скворец тоже есть, только не работает. Сейчас опять пойду в контору ругаться, чтобы монтера присылали.

— Тебе-то монтера и без ругани пришлют, — сказал Кузнецов, — вот тебе пульт дали.

— Что, думаешь, так просто и дали? Получили два пульта на всю Бухту для опыта, а мне вдруг сразу и дадут. Ходил каждый день, кланчил, как мальчик. Мне, говорю, хочется на пульте работать. А мало ли кому хочется, говорят мне. Вот Иманову тоже хочется, Алиеву тоже хочется. Я, говорю, не отстану, пока мне не дадите...

Кузнецов засмеялся.

— Выходит, что у нас в управлении жмоты сидят, — сказал он.

Погосов обиделся.

— Почему жмоты? Им, думаешь, легко, если у них пультов только два, а монтеров немногим больше. Ты, видать, привык, что тебе все с неба падает...

— Да нет, я не о том, — сказал Кузнецов и замолчал.

Ощущение у него было радостное и противное. Какой дурацкий характер надо иметь, чтобы выдумать такую форменную ерунду. Кузнецову захотелось сказать мастеру Погосову что-нибудь приятное, но ничего подходящего он сразу не придумал и, попрощавшись, пошел к берегу.

На старом заводе

На берегу большого пруда стоял старый железопрокатный завод. Собственно заводом он был раньше, а теперь считался всего лишь цехом металлургического комбината, находившегося за восемь километров отсюда, но местные жители называли его по-старому. Здесь было два вросших в землю, прокопченных здания, вокруг которых густо росла трава и паслись овцы и гуси. В том месте, где сваливали железные обрезки, водились белые грибы, и поэтому в столовке летом часто варили грибной суп. От пруда заводик отделяла высокая насыпь. В деревянной запруде, подводившей воду к турбине, так как один прокатный стан до сих пор работал силой воды, было много рыбы, и поселковые ребяташки целыми днями ловили ее удочками.

Заводик существовал сто семьдесят лет и за все это долгое время внешне почти не изменился. В тринадцатом году его начали было поднимать, но подняли только часть цеха, другую же, словно для сравнения, оставили как было. После революции, конечно, прибавились кое-какие новые станки, но в большинстве остались старые, и правильный молот, например, которым били кровельное железо, чтобы придать ему упругость и глянец, предохраняющие от ржавчины, по-прежнему был деревянный, и во время работы торец его закрывали железным чехлом, так как загоралось молотище.

Изготавливал заводик кровельное железо и лопаты.

К началу смены и в обеденный перерыв глуховатый старик Илья Тарасович звонил в церковный колокол, висящий на столбе. Гудка на заводике не было, но, хотя это очень огорчало и администрацию, и рабочих, директор комбината гудка не давал, говорил, что у них пара на гудок не хватит. Возможно, это так и было.

В прежние времена Илья Тарасович был мастером листопрокатки. Когда он состарился, его перевели в сторожа, и теперь его служба заключалась в том, что он сидел в проходной будке, проверял пропуска, звонил в колокол, а иногда, чтобы размяться, медленно брел к насыпи гнать мальчишек с деревянной запруды.

Прозвонив в колокол конец обеденного перерыва, Илья Тарасович обычно усаживался в своей будке пить чай. В это время из домика, расположенного напротив завода, выходил беленький и очень живой старичок. Он был в белом костюме, в рубашке с белым галстуком, в белой фуражке; лицо его было маленькое, розовое, с пухлыми щеками, седая борода была подстрижена клином — все это придавало ему сходство с белой мышью.

Он подходил к проходной будке, Илья Тарасович вставал перед ним навтыжку. Беленький старичок говорил ему:

— Сиди, сиди. Я просто так.

Но Илья Тарасович из почтительности не садился. Старичок покровительственно оглядывал сторожа и, тыкая в грудь согнутым пальцем, говорил:

— Слыхал, плохо работать стали?

— Как изволили сказать? — переспрашивал Илья Тарасович.

— Плохо, говорю, стали работать, а?

— Зачем же плохо. План даем.

— План!.. — презрительно тянул старичок. — Я не о плане разговор веду, а о качестве.

— Как?

— О качестве, говорю. Ты совсем оглох, Илья Тарасович.

— Это нам неизвестно, — отвечал Илья Тарасович и с беспокойством смотрел на беленького старичка.

Старичок качал головой, некоторое время стоял молча и думал.

Ему очень хотелось пройти в завод, и он знал, что пропуска у него Илья Тарасович не спросит, но появляться на заводе ему было неудобно. Идти или не идти? Он качал головой, взмахивал розовыми пухлыми ручками, бормотал что-то и наконец, толкнув Илью Тарасовича в грудь, говорил:

— А ты сегодня, между прочим, на две минуты раньше позвонил. Точности не соблюдаешь.

Звали беленького старичка Давыд Савельевич Мозгов. Ему было семьдесят четыре года. Из них сорок два он управлял этим заводиком. Был он сыном заводского рабочего, начал свою карьеру с рассыльного мальчика — «значка», как говорилось здесь, и дошел до управляющего. Управлял заводиком он и после революции и удалился на пенсию по старости всего несколько лет назад.

Теперь у него было много свободного времени, и к этому он не мог привыкнуть. День был длинный, пустой, а занять себя было нечем. Сперва он пробовал больше спать, но не смог. Привычка брала свое — он вставал в шесть, а засыпал не раньше двенадцати. Тогда он решил заняться мемуарами, но дальше фразы: «Я родился в 1862 году» — дело не пошло. И Давыд Савельевич с завистью думал о стороже, у которого было свое дело, хотя Илья Тарасович был моложе его всего на два года и числился таким же пенсионером по выслуге лет, как и он. Они работали всю жизнь вместе, на этом старом железопрокатном заводике, и Давыду Савельевичу обидно было видеть теперь Илью Тарасовича, попивающим чаек в своей проходной будке. Давыду Савельевичу казалось, что сторож слишком важничает для своего поста, что он слишком стар для дела, но он не хотел сознаться, что завидует ему. Ему казалось, что вообще на заводике теперь работают не так, как надо, и работать так, как надо, не могут, потому что руководят заводиком мальчишки, в частности, его зять Петя Турнаев. И поэтому Давыд Савельевич глубоко презирал все заводские дела, хотя интерес к ним не покидал и мучил его. Давыду Савельевичу хотелось знать, как теперь работают, как справляются с новыми ножницами для резки железа, пустили ли второй стан, который три недели стоял на ремонте, но главное — как идет производство лопат. Лопаты всегда были слабостью Давыда Савельевича. Он слышал, что Гришка Трусов, известный всему поселку крикун и толубятник, делает теперь в пять раз больше лопат, чем раньше, и Давыд Савельевич не мог представить себе, как это у него получается.

А идти в цех он боялся. Он знал, что в цехе ему все покажется не таким, каким должно быть, что он не удержится от критики, начнет делать всякие замечания, расстроится сам, и в результате выйдет неприятность. Мастер возьмет его за руку, как было уже однажды, и скажет обидным голосом:

— Пожалуйста, не мешайте. Давыд Савельевич. Как бы вас случайно не задели здесь чем-нибудь.

Со стороны заводика в этот час подъезжал состав узкоколейки, груженный синеватыми пачками кровельного железа. Маленький паровоз пронзительно кричал, и Илья Тарасович выпускал его на волю. Выехав за ворота, состав иногда останавливался перед проходной будкой, и тогда Давыд Савельевич подходил к платформам, осматривал железо, стучал по нему пальцами и, прислушиваясь, презрительно говорил:

— Глянца нет. Правили мало.

— Вы что сказали? — спрашивал сторож.

— Глянца нет! — кричал Давыд Савельевич. — Какой это глянец?

— Это нам не известно, — отвечал сторож и поводил плечами.

— Ты, Илья Тарасович, в железе понимаешь. Разве мы такое железо выпускали? — продолжал Давыд Савельевич. — Ну-ка, вспомни, ну-ка!

— Как вы говорите? — переспрашивал Илья Тарасович.

Мозгов взмахивал рукой и кричал с раздражением:

— Ну, какой из тебя сторож? Ты же глухой совсем. Какой ты сторож? Ты, я вижу, совсем стар стал.

— Старость не радость, — говорил Илья Тарасович, и Мозгову казалось, что он с усмешкой смотрит на него.

— Сказал, тоже... — бормотал Мозгов и уходил прочь.

Некоторое время он бродил по площадке перед проходной. Дни были жаркие. Улицы поселка были безлюдны, все пряталось от жары. Кустарники и деревья, окружающие дома, выглядели усталыми, и листва, давно не получавшая влаги, имела тусклый, сероватый цвет. Мозгов вытирал белым платком лицо и поглядывал по сторонам — не видно ли кого-нибудь из знакомых, взмахивал ручками, качал головой. Никого из знакомых не было, а впереди был длинный день. Тогда он обращал внимание на забор. В одном месте были выломаны несколько досок, и в дыру виднелся прокатный цех с фанерным закопченным щитом на фасаде.

— Забор сломали. Какие порядки! — возмущенно фыркнул Давыд Савельевич. Потом взглядывал на трубу и снова бормотал: — Трубу надо ремонтировать... Кто этим будет заниматься? А она десятый год стоит.

И покачивал озабоченно головой.

Он медленно брел вдоль забора и незаметно для самого себя оказывался возле насыпи. В этом месте, у насыпи, кончался заводской забор и можно было свободно пройти к деревянной запруде, а оттуда спуститься и на заводскую площадку. Неудержимая сила влекла его сюда.

Он поднимался по насыпи, потом спускался к запруде и останавливался тут возле мальчишек, ловивших рыбу. Некоторое время он стоял молча, потом не выдерживал.

— Эх ты, хитрый-Митрий, — говорил он белокурому мальчишке с такими грязными ушами, что они казались рваными, — кто же так удочку забрасывает? Шлеп! А думает — поймал. Ее надо потихоньку забрасывать, чтобы грузило не шлепало. Рыба ведь пугается. Понимать надо!

Давыд Савельевич забирал у мальчишек удочку и показывал, как надо удить.

— Смотри, — говорил он, — видишь? Потихоньку, потихоньку. Вот теперь сразу клюнет.

Он опускался на корточки и сосредоточенно смотрел на зеленую воду и даже облизывался от нервного ожидания. Время шло, а рыба не клевала. Тогда Давыд Савельевич поднимал удочку и, посмотрев червяка, говорил презрительно:

— Черви тощие. Рыба на такой червяк внимания не обратит. Где таких червей накопал? Разве рыба на такого червяка клюнет?

— Черви не тощие, дедушка Давыд, это они в банке пожухли, — отвечал ему «хитрый-Митрий» и протягивал консервную банку, в которой копошились червяки.

Давыд Савельевич покачал головой.

— Пожухли! Рыбак из тебя, я вижу...

И спускался с насыпи к заводу.

У входа в цех его окликал Гришка Трусов:

— Давыд Савельевич, ну, как она?

— Кто это она? — строго спрашивал Давыд Савельевич.

— Жизнь лучезарная! — отвечал Гришка и смеялся во весь рот.

Давыд Савельевич не любил этого непочтительного парня и, не зная, как ему ответить, говорил:

— Все бы тебе зубы скалить. Скалозуб.

Трусов смеялся и подмигивал:

— Зашли бы поглядеть, как мы теперь ворочаем.

— А мне что? — отвечал Давыд Савельевич и косился

на дверь цеха. В разбитые окна и открытую дверь ему видны были вспышки пламени в нагревательных печах и раскаленный пакет кровельного железа, который тащили рабочие к правильному молоту, и ему мучительно хотелось туда пойти, но он равнодушно пожимал плечами и возвращался к проходной будке.

Делать было нечего, с горя Давыд Савельевич присаживался на табуретку, и Илья Тарасович предлагал ему чаю.

Так они сидели, два старика, друг против друга, и пили чай. Быть может, Илья Тарасович думал о молодости или, наоборот, о старости, так как не все старики наедине с собой считают себя старыми. Давыд Савельевич закрывал на мгновение глаза и ясно представлял себе, как рабочие кладут раскаленный пакет кровельного железа под правильный молот, как тяжелая чугунная баба на длинном деревянном молотище начинает клевать его, как сыплются во все стороны красные искры, как в тот момент, когда молот поднимается, бригада рабочих одним движением, несколько напоминающим то, какое делают гребцы на лодке, поворачивает на ломиках пакет. Никто не подает им никакой команды, никаких знаков, но как удивительно согласовано их движение! Секунда — и пакет подается в одну сторону, секунда — в другую.

И часто, когда Давыд Савельевич встречал своего зятя, Петю Турнаева, мальчишку, которого глубоко презирал, он оживлялся, щеки его розовели еще больше, и начинался разговор:

— Как у тебя дела, Петя? — спрашивал Давыд Савельевич, тыкая его в грудь. — Ты, я вижу, совсем директором стал. Важности на Магнитку хватит.

— Дела идут, папаша, контора пишет. Жаловаться не на что.

— Очень хорошо, если дела идут, — многозначительно говорил Давыд Савельевич, — но железо-то без глянца дайте. Правите маловато. Я вот сегодня смотрел...

— Откуда вы это взяли, папаша? Глянца нет? — Турнаев разводил руками с деланным удивлением. — Триста восемьдесят ударов даем. Больше не требуется.

— Что-то не похоже на триста восемьдесят. Я смотрел. Глянца нет, звон тусклый. Нет, железо неважное.

— Должно быть, давненько настоящего железа не видели. А, папаша?

Турнаев, усмехаясь, похлопывал Давыда Савельевича по плечу. Давыд Савельевич оскорбленно пропускал замечание мимо ушей, начинал расспрашивать о заводе, а потом приглашал к себе. И когда Турнаев отказывался, ссылаясь на занятость, просил долго и униженно, потому что ему нужен был собеседник, и именно такой, как зять, его нынешний пресмник, понимающий дело, отчего интересней было его поучать. Но Турнаев жил в городе и всегда спешил после работы к жене. Жена его, Маруся, дочь Давыда Савельевича, была знатная женщина: на совещании в Москве она получила орден «Знак Почета».

Видя, что Турнаев наотрез отказывается идти к нему, Давыд Савельевич выдвигал последний довод:

— Обижаешь стариков, Петя, — говорил он, — мы все-таки родственники. Ведь ты не обедал еще, верно? А моя старуха сегодня пироги пекла.

Турнаев спешил в город к жене, кроме того, он знал, что у Мозговых будут нескончаемые разговоры о заводе, о поездке Давыда Савельевича на уральские заводы в тысяча восемьсот девяносто седьмом году, о том, что сейчас заводик работает не так, как надо, в доказательство чего будет показана лопата, но против пирогов устоять не мог.

Он шел в дом к старику, соблазненный пирогами и теми особенными пампушками с маком, которые с большим искусством пекла теща Евдокия Петровна.

Дом Давыда Савельевича был пятистенный, крытый железом. В маленьком уютном дворике было чисто, росла трава, возле сарая стояла кадка с водой. По утрам Давыд Савельевич обливался из нее. В прохладных сенях Турнаева встречала теща, высокая, худая женщина в черном платье. Говорила она певучим, тихим голосом, и всегда у Турнаева было такое впечатление, что прохлада в комнатах чем-то связана с этой певучей речью. Окна были завешены гардинами, на подоконниках стояли цветы в горшках, крашеные полы были сплошь застелены ковриками и дорожками. На стенах висело много фотографий и плоских картин. В стеклянной горке хранились безделушки — всякие чашечки, статуэтки, хрустальные яички, тележки, выложенные из уральских камней. На особой полочке красовалась модель мартеновской печи.

Сколько раз Турнаев разглядывал все это убранство, и каждый раз, когда он приходил сюда, он чувствовал себя так, точно попал в музей.

На чистом застекленном крыльце, заменяющем в доме террасу, стоял обстоятельно накрытый стол, несмотря на то что хозяйка не ждала гостя. Так было заведено в этом доме со старых времен. Давыд Савельевич никогда не получал большого жалованья, а теперь жил на пенсию, но Евдокия Петровна чуть ли не каждый день пекла ватрушки, пироги, растегая и свои знаменитые пампушки с маком, и в ее буфете не переводилось варенье трех сортов.

Усадив гостя за стол, Евдокия Петровна шла на кухню за самоваром, а Давыд Савельевич вынимал из шкафа кружку, в которой было проделано несколько дырочек, так что пить из нее было как будто невозможно. Однако выпуклая надпись на кружке предлагала «:Напейся и не облейся». Это была кружка с фокусом, и лет ей было, наверное, не меньше, чем хозяину. Турнаев знал эту кружку лет десять, с тех пор, как женился на Марусе. Но всякий раз, когда приходил к старикам, его обязательно забавляли этой кружкой. И каждый раз он брал кружку и делал вид, что забыл, в чем заключается фокус, пробовал напиться и судорожно раздвигал ноги, потому что вода текла из дырочек к нему на брюки.

— Ну, ну, — подбадривал его Давыд Савельевич.

Турнаев хлопал себя по лбу, пожимал плечами и говорил с удивленным видом,

— Забыл, папаша. Такая хитрая вещь! Всегда забываю.

— Да ну, сообрази, — уговаривал его Давыд Савельевич.

Турнаев еще некоторое время искал секрет и наконец, сообразив, затыкал нужную дырочку пальцем, а из другой тянул губами воду в себя.

— Вот видишь, вспомнил, — радовался Давыд Савельевич. — Хитрая все-таки вещь, а ведь простая кружка, глина!

Потом они пили чай с пирогами и вареньем, и Турнаев рассказывал о заводе. Сперва Давыд Савельевич слушал спокойно, но потом не выдерживал и начинал презрительно фыркать, подавать иронические реплики, — словом, всячески давал понять, что гордиться Турнаеву совершенно нечем.

Когда Турнаев рассказывал о лопатах, старик прерывал его, начинал доказывать, что качеством лопаты не сравнятся с теми, что делал он в свое время, и шел к комоду, который стоял тут же на крыльце, доставать обра-

зец. Лопата хранилась в нижнем ящике комода, обернутая в батистовую сорочку жены, которую та носила в молодости. Она была чисто отполирована, местами на ней зеленел вазелин, которым смазывал ее Давыд Савельевич от ржавчины. Посредине лопаты была наклеена марка: лось внутри красного круга. Давыд Савельевич подносил лопату к лицу Турнаева, щелкал по ней пальцем, и лопата звенела как колокольчик.

— Звук! — кричал он. — А твои? Разве твои так звенят? Это, братец мой, сталь, а у тебя жестянка.

Турнаев разводил руками и говорил:

— Мы свои лопаты не для красоты делаем, но чтобы сталь была хуже — не замечал.

— Как ты можешь говорить, Петя? Ведь звук, ты послушай, разве твоя лопата даст такой звук?

Он снова подносил лопату к уху Турнаева и щелкал по ней пальцем.

— Что звук? Разве дело в звуке? Я свою лопату отполирую, так еще лучше зазвенит. Мы не чайные ложечки делаем.

Но Давыд Савельевич не уступал, и они начинали спорить. Турнаев сначала спорил лениво, смеясь. Он говорил, что теперь лопаты по качеству не уступают прежним, но производство их возросло на заводе в несколько десятков раз, — правда, они не так красиво отделаны, и вазелином их не мажут, и в батистовых сорочках не хранят, на то это и лопаты — землю рыть, а не чай в чашке размешивать.

Давыд Савельевич горячился, нервничал, доказывал, что Турнаев неправ. Голос его начинал дрожать, руки — трястись, на глазах выступали слезы. Он обиженно заворачивал свою лопату в сорочку и нес ее прятать в комод.

И всякий раз Евдокия Петровна умоляюще глядела на Турнаева и говорила:

— Петенька, скушай еще пампушечку. Вот, смотри, какая поджаристая.

Но Турнаев не обращал на нее внимания и продолжал говорить, все больше распаляясь и нисколько не щадя бедного Давыда Савельевича.

— Ты бы лег отдохнуть, Давыд Савельевич, — говорила тогда Евдокия Петровна. Турнаев поднимался и благодарил за пироги. Провожать его шла Евдокия Петровна. Давыд Савельевич надувался и молчал.

И когда Турнаев выходил уже на улицу, старик вдруг перегибался через окошко и изо всей силы кричал ему вслед:

— А железо у вас все-таки без глянца: правите плохо. И... и лопаты при мне лучше были!

Турнаев отмахивался от него, шел к заводу, но настроение уже было испорчено на долгое время.

«Паршивый старик, — думал он на ходу, — с ума сходит от безделья».

Он очень злился на старика. Каждый раз, когда он соблазнялся пирогами, происходила эта история. «Придется отказаться от пирогов раз и навсегда, — думал Турнаев. — Этот обязательный дурацкий разговор не стоит угощения. Лопаты при нем лучше были... Придет же в голову такая вещь». И однажды вечером он пожаловался жене.

— Ты понимаешь, — сказал он, — опять меня твой папаша затащил к себе, показывал лопату и на стенку лез — лопаты, мол, при нем лучше были и железо, мол, теперь не то. Мы, говорит, железо катать не умеем. Меня это прямо злит.

— Ну, как ты не понимаешь, Петя? Старик всю жизнь работал, привык к заводу, это же его завод, а теперь он остался не у дел и занять себя нечем. Нужно с этим считаться.

— Это все я знаю. Думаешь, я такой непонятливый, простой вещи не могу понять, но в какое я положение каждый раз попадаю? Придумай ему какое-нибудь дело в таком случае. Ты его дочь.

— Я, я! Все я! А ты ему не можешь какую-нибудь работу подыскать? Чуть что, обязательно ко мне.

— Какую я ему дам работу? Склад сторожить? Ну, посуди сама, старику семьдесят четыре года.

— Что с тобой разговаривать! — рассердилась Маруся. — Ты бесчувственный человек.

В этот вечер супруги поссорились, и Турнаев ушел ночевать к приятелю.

А через пять дней на шоссе, идущем из города в заводской поселок, показалась легковая машина, которая вела себя чрезвычайно странно. Она пятилась как рак, виляла из стороны в сторону. Из-под ее колес вылетали неплотно утрамбованные куски шлака, которым было покрыто шоссе. Шофер, перегнувшись над бортом, все время смотрел назад.

Так машина миновала пруд и купу деревьев у въезда в поселок, медленно проехала по сельской улице и остановилась перед домиком Мозгова. Вокруг машины собрался народ, с пруда бежали с криками мальчишки. Шофер непрерывно нажимал клаксон, и шум поднялся такой, что рыжий теленок в конце улицы, после недолгого раздумья, задрал хвост и опрометью бросился в рощу.

Когда из калитки вышли Мозговы, они с удивлением увидели в машине свою дочь. Маруся смеялась, кричала им что-то из автомобиля, но они не могли разобрать — что.

Старики не видели Марусю с тех пор, как она приезжала сюда устраивать «изысканную жизнь» в столовке, то есть вешать портьеры, стелить скатерти на столах, ставить графины с кипяченой водой, словом, приводить столовую в тот порядок, в каком она была теперь. Это было месяц тому назад, и старики очень обрадовались дочери.

Маруся вышла из машины и сказала, смеясь:

— Почти всю дорогу задом ехала. У нас что-то испортилось в машине.

Евдокия Петровна всплеснула руками.

— Скажи ты!

Давыд Савельевич сейчас же полез в машину и, попробовав рычаг, сказал шоферу:

— Экий ты неловкий, дядя! Мне даже непонятно, как можно такую вещь сломать.

— Бывает, — сказал шофер, как человек, многое испытавший в жизни.

Марусю повели в дом, на столе появились пироги, варенье, и зашумел самовар. А шофер попятил машину в цеховую кузницу.

— Ну, как вы живете? — спрашивала Маруся.

Старики наперебой рассказывали ей поселковые новости и сплетни. Маруся слушала, смеялась и наконец сказала:

— А ну, угадайте, зачем я приехала?

— Ты всегда так, — заметил Давыд Савельевич, — обязательно по делу приедешь. Хоть бы раз просто так появилась, стариков провести например.

— Ну, а все-таки, попробуйте угадать.

— Ну кто ж тебя угадает. Небось свинарник организовывать или учреждать школу ликбеза. Твои дела известные, — сказала Евдокия Петровна.

— Вот не угадала! Я приехала папе службу предлагать.

Евдокия Петровна испугалась, Давыд Савельевич начал медленно краснеть и от волнения, прижав ладони к груди, пролепетал:

— Мне?

— Вам, папа. Замечательная служба! Лекции читать.

— Господь с тобой, — махнула рукой Евдокия Петровна, — какие такие лекции?

— Понимаете, — заговорила Маруся, — мы организовали стахановскую школу, около трехсот человек учится, а лекторов не хватает. Могли бы вы, папа, лекции по прокатному делу читать? Два-три раза в декаду. Я думаю, вам не трудно будет?

Пока она говорила, старик пришел в себя, откашлялся, быстро отер слезы и, гордо откинув голову, сказал:

— Что же, предложение интересное. Оклад будет положен?

— А как же! За каждую лекцию будете получать.

— Господь с тобой, Маруся, ну куда ему лекции читать! Дайте человеку отдохнуть на старости лет, — сказала Евдокия Петровна.

— Что ты мелешь, я не понимаю! Что я, дряхлый старик какой-нибудь? — рассердился Давыд Савельевич. — Лишь бы разговоры говорить, а в существо дела проникнуть не в состоянии. На старости лет! Молчи лучше, если ты ничего не понимаешь.

— Но его же с пенсии снимут, — не унималась Евдокия Петровна, — на что ему эти лекции сдались?

Давыд Савельевич затряс бородкой, нахмурил лоб и исподлобья поглядел на Евдокию Петровну.

— Ну, ладно, ладно, молчу, — сказала она, поднимая руки, — каждый по-своему с ума сходит.

— Мама, — сказала Маруся, — его с пенсии не снимут. Он будет сверх пенсии получать. Зачем вы расстраиваетесь?

— Она сама не знает, чего хочет. Можно подумать, что я в самом деле столетний старик. Мне, конечно, нужно подумать, но в принципе я согласен. Вот только — как с транспортом? Придется на поезде ездить или машину будете присылать?

Евдокия Петровна встала и вышла из комнаты. Маруся подмигнула отцу, и они рассмеялись.

— Мы будем машину присылать, — сказала она.

— То-то, машину! — погрозил ей пальцем Давыд Савельевич. — Пришлете машину — и весь мой авторитет пропал. Мне машину надо, чтобы она передом шла. Раком пятиться мне не полагается.

— Вы об этом, папа, не беспокойтесь. Каждый раз будем осматривать машину.

— Ну, ладно, уговорила. Так и скажи своим начальникам: Мозгов согласен.

И, когда дочь уехала, Давыд Савельевич степенно вышел из дому и направился к проходной будке.

Илья Тарасович, как обычно, встал перед ним навтыжку. Давыд Савельевич поглядел на него и, пожевав бородку, сказал:

— Сиди, сиди. Я просто так.

Но Илья Тарасович не садился из почтительности. Давыд Савельевич ткнул его в грудь согнутым пальцем:

— Ну, как у вас дела? Поправляются?

— Как изволили сказать? — переспросил Илья Тарасович.

Мозгов махнул рукой и сказал:

— Ладно, сиди. Я теперь, между прочим, буду вроде профессора. Лекции буду читать. Так-то, братец ты мой!

Он посмотрел на сторожа, стараясь подавить волнение, и с гордостью прошел на заводскую площадку.

Жена

Зинаида Сергеевна еще спала, когда Джильда, немецкая овчарка, сорвалась с места и бросилась в переднюю с неистовым лаем. Скрипнула, затем хлопнула входная дверь, и Зинаида Сергеевна услышала голос мужа.

— Постой, подожди. Фу-у, Джильда! — говорил он.

Зинаида Сергеевна быстро накинула халат и пошла к нему навстречу.

Иннокентий Филиппович приехал из Косьвы небритый, пахнувший морозом и, как всегда, рассеянный и спокойный, точно и не уезжал из Москвы. Джильда прыгала вокруг, стараясь лизнуть лицо, стучала когтями по полу. Иннокентий Филиппович ласково отгонял ее, приговаривая:

— Фу-у, Джильда, перестань.

И Зинаида Сергеевна тоже сказала:

— Перестань, Джильда. Фу-у!

Иннокентий Филиппович погладил собаку, снял шубу с большим енотовым воротником и, целуя Зинаиду Сергеевну, спросил:

— Жива-здорова, Сарра Бернар?

Поцелуй его был спокойный, деловой, похожий скорее на рукопожатие, и Зинаида Сергеевна, как бывало неоднократно, почувствовала, что этот человек, которого она так ждала, каждую черточку лица которого хранила в памяти, все больше отдаляется от нее. Знакомые морщины на его лице, нос с горбинкой и выпуклой родинкой у переносицы, розовый лоб, выступающий вперед под редкими седыми волосами, казались теперь не родными, точно Иннокентий Филиппович совсем не муж ее, с которым она прожила двадцать семь лет. С каждым его приездом отчуждение возрастало, и это очень пугало ее.

Войдя в столовую, Иннокентий Филиппович сильно потер красные от мороза руки, сказал довольным голосом: «Н-ну-с» — и начал гладить Джильду, трепать ее за уши, шептать ласковые слова. Собака стояла смирно, помахивая хвостом, ежесекундно облизывалась и с легкими стонами вздыхала от наслаждения.

Иннокентий Филиппович сделал строгое лицо.

— Голос, Джильда. Дай голос, — сказал он.

Собака прижала уши, вскинула морду и беззвучно, как от зевоты, раскрыла пасть. Иннокентий Филиппович повторил приказание. Джильда снова вскинула морду и громко тявкнула.

— Хорошо, — удовлетворенно сказал Иннокентий Филиппович, — молодец, Джильда.

Зинаида Сергеевна поставила электрический чайник, зажгла свет, так как утро было пасмурное, и подошла к Иннокентию Филипповичу. Она не видела мужа больше месяца, но вот она подошла к нему и, как ни странно, говорить было не о чем.

— Ты здоров? — спросила она.

— Конечно. Что со мной сделается? — ответил он рассеянно. — Еще сто лет проживу.

И стал снимать сапоги.

Иннокентий Филиппович Подпалов уже четвертый год работал в Косье главным инженером металлургического завода, но считал себя москвичом, человеком в Косье временным. Зинаида Сергеевна все время оставалась в Москве сторожить квартиру.

Жить на два дома было и тяжело, и дорого. Зинаида Сергеевна нигде не работала и очень скучала в Москве. Она хотела переехать к мужу, так было бы гораздо удобнее и для него, но Иннокентий Филиппович и слышать об этом не хотел. Он дорожил московской квартирой, понадеявшись на броню не решался и предпочитал под видом служебных командировок приезжать в Москву, хотя в его возрасте это было нелегко.

В молодости Зинаида Сергеевна была актрисой. Иннокентий Филиппович в то время работал на заводах юга, и жили они то в Макеевке, то в Юзовке, то в Луганске. Знакомые говорили, что у Зинаиды Сергеевны «громаднейший драматический талант», и предвещали ей блестящую карьеру. Но там, где жили Подпаловы, не было настоящего театра. Зинаиде Сергеевне приходилось играть в лю-

бительских спектаклях и о большой сцене только мечтать.

Кроме сценической деятельности, Зинаида Сергеевна принимала самое горячее участие в устройстве благотворительных базаров, лотерей и так называемых «чашек чая» в пользу непмущих студентов или раненых на войне. Если нужно было, она не только торговала в киоске или сидела за урной с лотерейными билетами, но и рисовала плакаты, украшала залы флажками и елочными гирляндами, расставляла на витринах выигрыши.

И все, за что бы Зинаида Сергеевна ни принималась, выходило у нее удачно. Дома у себя она вышивала дорожки, скатерки и коврики, и эти изделия были так хороши, что однажды сын старика Бальфура, фактического владельца Юзовки, попросил Зинаиду Сергеевну смастерить для него скатерку, чтобы послать ее в подарок матери в Англию. Но Зинаида Сергеевна не исполнила его просьбу.

Позже Подпаловым удалось переехать в Харьков. Зинаида Сергеевна устроилась в театр к Синельникову, но мысли о столице все же не покидали ее, и в «Трех сестрах» не было лучшей исполнительницы Ирины, чем она. «Уехать в Москву. Продать дом, покончить здесь все — и в Москву...» Сама Комиссаржевская, вероятно, не сыграла бы так Ирину.

В Харькове у Зинаиды Сергеевны родился сын, и сцену пришлось бросить. Она стала домашней хозяйкой. И к тому времени, когда мечты осуществились и они наконец переехали в Москву, — это произошло на третий год революции, — молодость прошла, все свои театральные знакомства Зинаида Сергеевна растеряла и даже не пыталась устроиться на сцену. Теперь это было ни к чему. Только в гостях или принимая у себя гостей, она вспоминала старое и иногда декламировала:

Трубадур идет веселый, солнце ярко, жарок день,
Пышет звоном от утесов, и олив прозрачна тень.

И ей аплодировали, как в молодости.

Когда началась первая пятилетка, Подпалову снова пришлось работать на периферии, а Зинаида Сергеевна оставалась в Москве. Время шло. Она постарела, пополнила, перестала следить за собой. Со знакомыми встречалась все реже и реже. Театры стали раздражать ее, напоминая о прошлой, заброшенной деятельности; она перестала бывать в театрах и коротала свои дни в одиночестве.

Сын вырос, женился, родился внучек Сережка; теперь ему было уже пять лет. Жил сын со своей семьей отдельно; с невесткой Зинаида Сергеевна не ладила и, хотя очень любила внука и скучала без него, видела Сережку только в банные дни. В квартире у сына не было ванной, и он со всем своим семейством приходил мыться к Зинаиде Сергеевне. Эти дни были почти единственным ее развлечением.

Самое трудное время для Зинаиды Сергеевны наступало по вечерам. Днем еще нужно было позаботиться о еде, убрать в квартире. Мелкие хозяйственные нужды занимали ее днем. Она ходила покупать керосин, договаривалась с прачкой, выводила Джильду на прогулку и разговаривала во дворе с какой-нибудь нянькой.

Вечером совершенно нечего было делать.

Когда становилось темно, она долго не зажигала свет, сидела во мраке тихой квартиры и смотрела на окно. Замерзшие, осыпанные снегом стекла светились желтоватыми искорками, и в блеске их Зинаиде Сергеевне виделась какая-то чужая, заманчивая жизнь, в тайну которой нельзя было проникнуть. Она сидела в кресле, смотрела на окно. В квартире было тихо, пусто и только Джильда иногда вздыхала у печки в темноте.

Много лет назад эти вечерние часы были заполнены сборами в театр, тревожным ожиданием спектакля. Днем — репетиции, встречи со знакомыми, суетливая беготня по магазинам. После обеда к вечеру она ложилась отдыхать. Сквозь дрему слышался голос Иннокентия Филипповича, что-то напевающего у себя в кабинете. В шесть часов он входил в спальню и говорил, вынимая карманные часы:

— Сарра Бернар, ты сегодня опоздаешь.

Зинаида Сергеевна вставала, грела на спиртовке щипцы для завивки волос, причесывалась, а горничная Дуняша тем временем укладывала в большую фанерную коробку, какими теперь уже никто не пользуется, гримировальные карандаши, платья и овальное зеркальце. Потом Зинаида Сергеевна бежала в театр, закутавшись в пуховый платок, чтобы не помять прическу, а Дуняша несла за ней коробку.

Иногда сидя так, в темной комнате, она вспоминала свои роли и читала вслух, но слова, не прерываемые репликами партнеров, звучали теперь безжизненно и каза-

лись насмешкой и над ее прошлым, и над настоящим ее. Потом она стала замечать, что путает роли, забывает их, и это было похоже на паралич, по частям отрывающий ее от жизни.

Все сильнее становилось желание уехать из Москвы к мужу, чтобы заботиться о нем, чтобы войти в его интересы и этим занять свое пустое время. Теперь она мечтала о провинции, как много лет назад мечтала о Москве, хотя такой пьесы написано еще не было.

И в этот приезд Иннокентия Филипповича она решила во что бы то ни стало заставить его согласиться на ее переселение в Косьву. Дальше так жить она не могла.

Но когда Иннокентий Филиппович приехал, она не нашла мужества, как случалось и раньше, для решительного разговора с ним.

Она все допытывалась: что нового в Косьве, но он ничего не рассказывал, потому что не замечал своей жизни там, как многие деловые и занятые люди; отделывался шуточками и прибаутками; обещал рассказать как-нибудь в другой раз. Ясно, он не понимает, что это серьезно интересует ее. И Зинаида Сергеевна досадовала за это на мужа. В каждый свой приезд он приносил с собой ветер другого, полного деятельности, незнакомого мира, и это ее тревожило, причиняло страдания, а он не понимал, что заставляет ее страдать. Ее раздражало и то, что, приезжая сюда с удовольствием, как на отдых, он вместе с тем не переставал думать о своих заводских делах. Зачем он жалуется тогда на усталость, на то, что его не отпускают с завода, что ему трудно жить без нее? Он же сам не хочет бросить завод. Он же сам хочет, чтобы она сторожила московскую квартиру. Из этого круга нельзя выбраться.

На другой день после приезда Иннокентий Филиппович уговорил ее пойти в студию Симонова на «Таланты и поклонники»: Зинаида Сергеевна вечность не была в театре, а у Симонова не бывала еще никогда, но лучше бы она и не ходила. Молодые актеры с таким блеском провели спектакль, что Зинаида Сергеевна совсем расстроилась. Так, глядя на других, случайно замечаешь свою старость.

В антракте Иннокентий Филиппович заговорил о заводе, о своих заводских делах, сказал, что недавно ездил на охоту и убил двух зайцев. Говорил он об этом

всем вкусно, с оживлением, точно вдруг заскучал по Косьве. Зинаида Сергеевна представила себе лес, снег, пушистого белого зайца с раскрытыми от удивления глазами, и ей так мучительно захотелось увидеть это самой, что она раздраженно сказала:

— Я не хочу об этом слышать.

Весь вечер и дома она больше не разговаривала с Иннокентием Филипповичем, и это как будто несколько не тревожило его.

Прошло еще два дня. На третий, когда Иннокентия Филипповича не было дома, позвонили из Косьвы и попросили передать, чтобы он немедленно возвращался — стала вторая мартеновская печь.

Иннокентий Филиппович пришел домой поздно, но, узнав о вызове, тотчас начал собираться в дорогу: потребовал чистое белье и сел в столовой бриться.

Зинаида Сергеевна достала в спальне со шкафа его чемодан и принесла в столовую.

Джилда почуяла отъезд хозяина и стала лезть к нему, тыча носом в колени и размахивая хвостом. Иннокентий Филиппович отгонял собаку, она возвращалась на свою подстилку, ложилась, кряхтя и вздыхая, а через минуту вскакивала и снова шла к нему.

— На место, Джилда, — кричал он деланно сердитым голосом и говорил Зинаиде Сергеевне, как всегда, удивляясь: — Посмотри, как она все понимает. Вот чертова собака, знает же, что я уезжаю.

Зинаида Сергеевна не отвечала. Она разложила на обеденном столе чистое белье, чтобы отобрать в дорогу. Она думала о том, что она несчастна, что муж любит свой завод в десять раз больше, чем ее, а она из-за мужа, из-за семьи пожертвовала своей карьерой.

Иннокентий Филиппович мылил щеки, мурлыкал под нос, наклонялся к зеркалу, с таким вниманием разглядывал свое лицо, с такой радостью готовясь к отъезду, что у Зинаиды Сергеевны возникло даже подозрение, не ждет ли его там женщина.

Она тут же старалась уверить себя, что это не так, что это ей только кажется, он любит ее, как всегда любил, но горечь этих мыслей поддерживала то возбуждение, которое она всегда испытывала, когда приезжал муж.

— Возьмешь рубашку в синюю полоску? — спросила она.

В ответ Иннокентий Филиппович промычал что-то невнятное, так как тщательно выбривал щеку, подперев ее изнутри языком. Зинаида Сергеевна раздраженно передернула плечами и положила рубашку в чемодан.

Она знала, что Иннокентий Филиппович не любил разговаривать во время бритья и всегда сердится, если его в это время кто-нибудь отвлекает. Ей и не нужно было спрашивать, что собирать ему в дорогу, но молчание, хотя она сама промолчала на его вопрос перед этим, было тягостно. Все было тягостно, бессмысленно, не так...

Через некоторое время она снова спросила:

— Фуфайку возьмешь? Сколько пар носков класть?

Он промолчал, потом рассердился, положил бритву и закричал:

— Что ты спрашиваешь о всякой ерунде? Возьмешь, не возьмешь. Боже мой. дай человеку сперва побриться.

Зинаида Сергеевна бросила фуфайку и отошла к печке, отогнав Джильду ногой. Джильда тихо заскулила, подошла к Иннокентию Филипповичу. Он внимательно посмотрел на жену и продолжал бриться.

Тогда Зинаида Сергеевна откинула голову назад, коснулась затылком печки и простонала:

— Когда наконец все это кончится? Когда мы будем наконец жить по-человечески?

Иннокентий Филиппович молчал.

— Я больше не могу, — продолжала Зинаида Сергеевна, — у меня нет ни мужа, ни семьи. Четвертый год!.. Я согласна стирать, готовить обед, штопать, но так не может больше продолжаться.

— Возьми, пришей, пожалуйста, пуговицу, — сказал, неуверенно улыбаясь, Иннокентий Филиппович и протянул жилетку.

— Постыдись, ты видишь — я говорю серьезно. Я страдаю...

— Но, Зинаида, что ты от меня хочешь? Подай заявление в наркомат с просьбой освободить меня от работы. Что можно сделать? Ей-богу, лучше шутить. Мы живем в эпоху, когда личные интересы не всегда совпадают...

— Знаю, — оборвала его Зинаида Сергеевна, — ты мастер читать лекции.

Иннокентий Филиппович намочил полотенце одеколоном и подошел к Зинаиде Сергеевне.

— Зина, какой же выход? — спросил он.

— Выход? Выход только один — взять меня в Косьву. Иннокентий Филиппович с досадой поморщился.

— А квартира? — спросил он и обтер лицо полотенцем.

— Нужно взять броню или ликвидировать квартиру совсем, — сказала Зинаида Сергеевна.

— Зина, но ведь это — сумасшествие, — сказал Иннокентий Филиппович, отбрасывая полотенце. — У нас квартира, хотя и без газа и без центрального отопления, но три комнаты! Бросить отдельную квартиру в Москве можно только в неменяемом состоянии. Всю жизнь мы стремились в Москву... И ты первая. И теперь отказываться, отступить? Зина, это же смешно!

И, как бывало каждый раз, Зинаида Сергеевна не смогла возразить. Каждый раз, когда она решалась настаивать и не уступать, достаточно было, чтобы Иннокентий Филиппович напомнил о прошлом, и вся ее решимость исчезла. Она сейчас же забывала о том, что раньше была цель, был смысл в желании перебраться в Москву, а теперь все шло по-другому.

Перед отъездом Иннокентий Филиппович обнял Зинаиду Сергеевну и сказал:

— Зина, прошу тебя, не дури. Переезжать в Косьву просто глупо. Ты пропадешь там со скуки. Это глушь, медвежья берлога, честное слово. Я-то знаю. Нужно, Зина, потерпеть. Наладим завод, придут молодые, я тогда отпрошусь в Москву. Еще год, еще два — это не вечность.

Она молчала. Иннокентий Филиппович поцеловал ее, взял чемодан. Джильда бросилась на него и с визгом запрыгала вокруг. Он шел к двери, отмахивался, смеялся, а собака прыгала вокруг него.

— Джильда, фу-у! Отставить, Джильда, — кричал он. — Ну, только не говорит, честное слово. Ведь все понимает проклятая собака.

Дверь захлопнулась за ним. Зинаида Сергеевна вернулась в столовую, села за обеденный стол, покрытый зеленой плюшевой скатертью, и зарыдала. А Джильда подняла морду и протяжно завывала, прерывая вой судорожным, визжащим лаем.

— Джильда, перестань! — закричала Зинаида Сергеевна.

Собака встала, сделала несколько шагов, печально помахивая хвостом. Потом посмотрела на дверь и снова за-

выла, подергивая кверху головой, протяжным, глухим, звериным воем. Зинаида Сергеевна больше не останавливала ее.

Потянулись однообразные дни. Приходили письма от Иннокентия Филипповича. Иногда он звонил по телефону и шутил сытым веселым голосом, а Зинаида Сергеевна вместо того чтобы сказать ему о самом главном, о своей тоске, переставала слышать от волнения и бестолково кричала в трубку:

— Иннокентий, ты слушаешь? Иннокентий, тебе слышно? Отдай белье в стирку.

В середине марта Зинаида Сергеевна отправилась погостить к мужу.

В Косье, куда она приезжала впервые, была еще настоящая зима. Маленькие бревенчатые домики засыпало снегом по самые окна. Город от этого выглядел игрушечным, и смешно было глядеть на густой серый дым, согласно и весело валивший из труб домов. Пешеходные тропинки извивались между высокими сугробами. Все прохожие были в валенках, женщины в платках. На мостовых снег не счищался и лежал толстым слоем, отчего сани и автомобили проезжали на другом уровне, чем тот, на котором двигались пешеходы. В той стороне, где находился завод, снег почернел от копоти.

Иннокентий Филиппович целые дни пропадал на заводе, и Зинаида Сергеевна, как в Москве, была все время одна. Сперва она развлекалась прогулками, но вскоре это надоело. Снег, сугробы, приземистые домики, люди, спешащие по своим делам... Ей казалось, что только она одна бездельничает во всем городе.

Вскоре после ее приезда, днем, когда Иннокентий Филиппович был на заводе, пришли две женщины, жены местных работников, и попросили Зинаиду Сергеевну принять участие в концерте, который устраивается семнадцатого во Дворце культуры.

Зинаида Сергеевна отказалась. Но женщины, видимо, ждали этого. Одна из них нахмурилась, строго поглядела на Зинаиду Сергеевну и сказала, разматывая платок:

— Зинаида Сергеевна, вы — артистка. Вы не должны отказываться. У нас концерт самодеятельный, простой.

— Но, голубчик мой, я не выступаю больше. Я бро-
едила сцену, — сказала Зинаида Сергеевна.

Тогда другая женщина с решительным видом, точно

готовясь к долгой осаде, села на стул и начала густым басом уговаривать ее.

Зинаида Сергеевна долго не сдавалась. Она ссылалась и на то, что у нее нет современного репертуара, и на то, что нет подходящего туалета для выступления, и на то, что разучилась выступать, и даже на старость. Но женщины, видимо, ждали и этого — и не отступали. И Зинаида Сергеевна в конце концов сдалась, а сдавшись, расплакалась от радости.

Неоштукатуренные, исцарапанные стены в полумраке кулис, колосники и штопанные задники, какие-то толстые провода, лежащие на полу, тишина зрительного зала за занавесом, запах пыли и краски — все позабытые ощущения сцены нахлынули на Зинаиду Сергеевну, когда она попала за кулисы. Ее очередь была не скоро, она ходила взад и вперед вдоль задней стены и не могла сосредоточиться. На сцене было тревожно, хотелось, чтобы поскорей наступил ее выход. А там — как-нибудь...

К ней подошла маленькая девочка на тоненьких ножках в розовых туфельках и в балетной пачке, похожей на бумажный абажур.

— Тетя, скажите, вы настоящая актриса? — шепотом спросила девочка.

— Нет, деточка, — ответила Зинаида Сергеевна, — я не настоящая. А ты?

— Я тоже нет. Я в первый раз. Я из школы, — сказала девочка, — а вы, наверное, не в первый?

— Почти что в первый.

— Очень страшно.

— Ничего, это пройдет.

— А мне кажется — так все время будет. Прямо ноги не ходят, так страшно.

— Это пройдет, ничего, — повторила Зинаида Сергеевна. Ей и самой казалось, что так все время будет.

Тут девочку позвали, и она успела только с отчаянием покрутить головой.

Объявили выход Зинаиды Сергеевны.

Она вышла. Раздались аплодисменты. Страх провала охватил ее. Ей казалось, что она все забыла, что она не может произнести ни одного слова. Только об этом она теперь и думала. Но когда слышались знакомые аккорды, сами собой возникли в памяти слова:

Трубадур идет веселый, солнце ярко, жарок день,
Пышет зноем от утесов, и олив прозрачна тень.

Она прочла «Трубадур». Она прочла «Каменщик, каменщик в фартуке белом...». Она прочла еще несколько вещей, и весь ее сколько-нибудь годный репертуар был исчерпан. Но ее заставили пять раз бисировать и потом долго шумели, требуя, чтобы она вышла еще раз.

За кулисами ее встретил Иннокентий Филиппович, обнял и сказал:

— Ну, ты никогда, пожалуй, не имела такого успеха. Правда, я думаю, тут есть и моя доля, поскольку я здесь главный инженер... Но все-таки здорово. Я даже не ожидал.

Подошли секретарь парткома и те женщины, которые приходили к ней. Секретарь парткома протянул Зинаиде Сергеевне горшочек с маленьким лимонным деревом.

— Это вам вместо цветов, — сказал он, — цветов зимой у нас нету, а лимонные деревья есть.

Зинаида Сергеевна улыбнулась, поблагодарила. А он помедлил и сказал:

— Вот интересная проблема. Я должен был бы вас уговорить: Зинаида Сергеевна, пожалуйста, переезжайте к нам, работу дадим, уважать будем. Но не могу. Рука, как говорится, не поднимается. Москва и Косьва!

Он прислушался к своим словам и рассмеялся.

Повесть о медной руде

Глава первая *Желтая краска*

Лазарь Александрович Коровин работал мастером на Нижне-Тагильском металлургическом заводе. От жара печей и раскаленного металла лицо его всегда было красное, обожженное. Росту он был высокого, брови у него были пушистые и седые, они придавали ему облик сурового и замкнутого человека. Таким он и был. Зря болтать языком не считал для себя достойным. Он происходил из кержацкой семьи, дом получил от отца по наследству, добротный дом с крытым двором. Мастером Лазарь Александрович был не первой руки, но заводская администрация его ценила: был строг с мастерами и образ мыслей имел трезвый и положительный. Ходили слухи, что некогда он был сброшен мастерами с коксовой эстакады, но, возможно, что хромота его происходила и от другой причины.

По воскресеньям, когда завод не работал, Лазарь Александрович в компании с учителем Рудым и врачом псковского полка Федорченко ездил на свои покосы охотиться. Покосы находились в семи верстах от города, в лесной и болотистой местности, где были хорошие глухаринные тока.

Они выезжали затемно по лесной дороге и рассвет встречали в лесу. В этот час в лесу сильно пахло хвоей и сырой землей.

Побродив в зарослях и по болотам, охотники подзывали собак и сходились завтракать к шалашу на коровинском покосе. Здесь на небольшой прогалине Лазарь Александрович разжигал костер, полковой врач Федорченко доставал бутылку с водкой, одним ударом донышко вышибал пробку и при этом всегда говорил:

— Принимать по чайному стакану три раза в день.

Однажды Коровин, садясь к костру, скосырнул каблук-ком землю и под тонким слоем сероватого песку, нанесенного в половодье, увидел ярко-желтую глину.

— Смотри-ка, — сказал он учителю и поднял щепочку.

Для глины она была, пожалуй, слишком яркой, он растер ее пальцами на ладони, она растерлась легко и мелко и была скользкой, как тальк. Рудый тоже потрогал пальцем эту странную глину, а Федорченко презрительно махнул рукой и попросил не мешкать с выпивкой. Водка, налитая в оловянную кружку, испарялась, кружка была одна, пить первым ему не полагалось как виночерпию, но вместе с тем и ждать неудобно было — он алкоголик и офицерский чин.

Теперь Коровин понял, почему на этом месте у шалаша не росло травы. Почва была неподходящая. Он стряхнул глину и взял кружку.

— За находку! — сказал, смеясь, Федорченко.

Лазарь Александрович выпил, поморщился для приличия и передал кружку Рудому. Пока Рудый пил, он снова набрал в руку глины и, плюнув на ладонь, развел ее в слюне.

— Это краска, — сказал он.

— Вот и выкрась ею под хвостом у лошади, — сказал Федорченко.

— А что вы думаете, Павел Яковлевич, такая вещь пригодится в хозяйстве.

— Бросай завод, открывай москательную лавочку, — сказал доктор.

Вообще-то говоря, у Коровина была давняя мечта — открыть собственный писчебумажный магазин, именно писчебумажный, а не какой-нибудь другой. Он рассмеялся, но собрал немного глины и положил в ягдташ.

— Ничего, — сказал он, — полы покрашу.

— Ты корове рога покрась. Так египтяне делали, — сказал доктор.

— Зачем — корове. Это вообще вещь хозяйственная.

Ванька Коровин родился и рос в желтом доме. Все здесь было выкрашено в желтый цвет. Ванька спал в желтой люльке, купали его в желтом корыте, кормили за желтым столом. Краска была яркая, прочная и хорошо подходила к дому, где все было такое же прочное, сделанное на век.

В тот год, когда родился Ванька, по всему Уралу искали медную руду. Богатейшие залежи окисленной самородной меди на Руднянке, эксплуатировавшиеся Демидовыми около двухсот лет, были наконец исчерпаны. Но остановить завод Демидов не мог, медным рынком завладел бы тогда Уркварт. Его заводы плавил медь, не чувствуя недостатка в руде.

В девяностых годах Уркварт впервые на русских заводах стал применять пиритную плавку¹. Это позволило ему перерабатывать колчедан и обходиться таким образом без самородной меди. И Демидов мог бы на своем заводе, установив ватер-жакеты², способом пиритной плавки обрабатывать колчедан, но в Тагильском округе, несмотря на самые тщательные поиски, медного колчедана не удавалось найти.

А геологи Уркварта открывали все новые и новые залежи. Было ясно, что Уркварт владеет каким-то секретом.

В Нижнем Тагиле, в двухэтажном каменном доме, жили купцы Треуховы. Треуховых было три брата. Один ходил в армяке, в сапогах, обильно смазанных дегтем, носил пышную седую бороду и по внешности был человеком благообразнейшим и смиренным. Он водил знакомство с мелким людом, со старателями и горняками, был вхож в родовитые кержацкие дома, куда простому смертному попасть было нелегко. Второй брат был совсем иной складки. Он ходил в сюртуке английского сукна, в штиблетах на резинке, бороду брил и носил бакены. Его упряжка была лучшей в городе, на клубные вечера он являлся в смокинге, ни на рудниках, ни на приисках никогда не бывал и даже гордился этим, а иногда, подвыпив, хвастал и тем, что не знает даже, как выглядит вашгерд³ или забой в шахте. А третьего брата уже лет десять не видели в Тагиле. И уже забывали, как выглядит он. Только и было известно, что этот Треухов живет всегда в Париже и время проводит в кутежах.

Братья Треуховы, конечно, чуть поменьше, чем Уркварт, но тоже доставляли изрядное беспокойство Демидову. В сравнении с Демидовым они были кустарями, но

¹ Пиритная плавка — способ плавления медной руды, при котором основным топливом является сама руда, содержащая много серы.

² Ватер-жакеты — плавильные печи.

³ Вашгерд — станок для промывания золотоносного песка.

кустарями, отлично понимающими значение промышленности. Из таких кустарей со временем вырастали крупнейшие заводчики и шахтовладельцы. Со своим капиталом в полмиллиона рублей они обращались ловко и прибыльно. Занимались они всяческими делами, но главным образом скупали золото, платину, серебро и добывали малахит для производства красок и ювелирных работ. Золото и платину они покупали любыми порциями, платили аккуратно, давали кредит, и, если Демидовы платили три рубля за золотник, Треуховы платили на полтинник дороже. Непосредственно всеми делами заправлял первый брат. Он ходил по старательским артелям, он командовал на рудниках. Был он честен, никогда не обвешивал, можно было прийти к нему в контору и, если не застанешь его, бросить мешочек с золотым песком в окошко, а потом прийти за деньгами. Поэтому к Треуховым носили золото даже демидовские старатели.

Второй брат Треухов ворочал делами фирмы. Это был барин, поговаривали, что первый брат обращался к нему на «вы». А третий, заграничный, служил фирме в качестве представителя.

Полковой врач Федорченко играл в клубе с Треуховым-младшим в префранс. Третьим партнером был полицейский, мужчина тучный и неповоротливый. По обыкновению, Федорченко нервничал и торопил партнеров.

— Рожайте, мон шер, рожайте, — подгонял он.

— Русский человек семь раз отмерит, раз отрежет, — заметил полицмейстер.

— Преувеличиваете добродетели русского человека, — сказал Треухов. — Русский человек ленив и безмятежен. Семь раз ему мерять не свойственно.

— Рожайте, мон шер. Какие вы, право филозофы!

— Русский человек золотой на дороге увидит — полчаса будет стоять: нагибаться или нет, — продолжал Треухов.

— Ну, это вы не скажите, — возмутился доктор, — русский человек бережлив и скареден. Я езжу на охоту с одним любителем глухариного пения, так вот он на своем покосе скovyрнул сапогом землю — видит, глина желтого цвета. Послюнявил — красится. Набрал с собой целый ягдташ, теперь у него дом желтым окрашен. Прямо хоть называй лечебницей для душевнобольных.

Треухов внимательно посмотрел на доктора, помолчал немного, потом спросил:

— В лесу, говорите, нашел? А место вы это помните?

— Чего же его не помнить, — рассмеялся доктор, — мы там частенько костер жгли. А почему это вас интересует, мон шер?

Треухов неуверенно качнул головой:

— Это может быть охра или бурые железняки.

— Ну, уж и охра! Вам всюду золото мерещится, — сказал Федорченко.

Кончилась пулька. Полицмейстер начал подсчет. Треухов встал, собираясь уходить.

— Еще Пушкин сказал: мы ленивы и нелюбопытны, — заметил он.

— Вот это правильно, — обрадовался полицмейстер.

— А как его фамилия? — спросил Треухов Федорченко.

— Кого?

— Да того охотника, который краску нашел.

— Краску! — засмеялся доктор. — Уж вы-то, мон шер, никак не подходите под свое определение русского человека.

Вечером следующего дня к Коровиным постучался старший Треухов. Был он приветлив, добродушен, войдя в дом, пощекотал Ваньке живот сучковатой палкой из афонского дерева и вынул из кармана пряник.

Отец стоял у желтого стола и смотрел на незваного гостя.

— А я к вам, Лазарь Александрович, — сказал старик.

— Прошу садиться, — ответил Коровин и крикнул жене, чтобы подавала закуску.

— Этого не надо бы... — сказал Треухов и отер платком влажные губы. — Впрочем, по маленькой не вредно пропустить.

Все в доме было окрашено желтой краской, но сам хозяин уже забыл про нее. В чулане стояло ведро, но краской давно не пользовались, и ее покрыла толстая гуттаперчевая пленка.

Мужчины сели к столу и заговорили о надвигающейся войне. Треухов хмурился при этом, как будто его щеко-чут, и томно вздыхал.

— Не будет этого. Нет, не будет. Война!

Они долго говорили о разных вещах, выпивая и закусывая, но Треухов все еще не объяснял цели своего прихода. Он расспрашивал Коровина, как дела на заводе и много ли прибавилось заказов в связи с надвигающейся войной, жаловался, что устал и поэтому хочет уходить в монастырь, да брат его не пускает. Между прочим, он спросил, где это Лазарь Александрович такой краски достал. Весь дом у него, как крендель над булочной, выкрашен. Коровин, усмехаясь, объяснил, что нашел эту краску на своем покосе. Тогда Треухов всплеснул руками и, встав с табуретки, пошел к хозяину.

— Так это же, уважаемый, вохра, — сказал он, и хлопывая по спине Коровина, укоризненно заговорил: — Ну разве так можно? Нашел краску на своей земле, применил по хозяйству и молчок!

— А что с ней делать? — спросил Коровин. — У меня там, посчитай, тысяча вагонов лежит. Глина — глина и есть.

— Так вохра же и есть глина. Желтая глина, из нее краску гонят. Это же наше дело — краску гнать.

— Это мне известно, — уклончиво сказал Коровин.

Он теперь понял, зачем пришел Треухов, и быстро подсчитывал в уме, сколько можно с него взять.

А старик все сокрушался беспечности Коровина, словно тот совершил преступление, найдя охру и никому не сказав ни слова. Коровин хмурился, думал, к чему купец гнет, зачем цену набивает, сколько запросить с него за глину? Не меньше тысячи, пожалуй, дело верное.

Но когда Треухов предложил за глину пятьдесят рублей, причем окончательно это должен был еще утвердить брат, так как он у них занимается денежными делами, Коровин растерялся. Так долго человек подходил к делу, а дело-то такое дешевое. Он пробовал торговаться, но Треухов всплеснул руками и сказал, что Коровин бога гневит, нашел — молчал, а теперь еще торгуется.

— Это же глина, какой это товар? — говорил он с недоумением. — Эта вещь может пригодиться только тому, кто краской занимается. Но, чтобы краску гнать, сколько всего еще нужно? Глина — она только цвет дает. А масло, а машины терочные, а печи для обжига?.. Грех торговаться, это же все равно что за навоз просить.

Они хлопнули по рукам, и Коровин отдал глину за полсотни рублей.

Потом началась война, псковский полк ушел, а вместе с полком и доктор Федорченко. Город опустел. Офицеры уехали, по субботам больше не устраивались балы в клубе.

А демидовское управление все еще искало колчедан. Однажды в Управление тагильских заводов вошел тщедушный, остролицый человек. Высокомерно посмотрев на служащих, он попросил доложить о себе управляющему. На него подозрительно покосились, тогда он важно произнес:

— Я геолог Яковлев из Кыштымского округа.

Если бы в управлении находился посторонний человек, он был бы, вероятно, весьма удивлен тем впечатлением, какое произвели эти слова. Мгновенно из кабинета управляющего выскочил секретарь и, расшаркиваясь перед Яковлевым, повел его в кабинет.

Служащие удивленно переглядывались. Геолог Яковлев из Кыштымского округа! Из кабинета вначале слышался голос управляющего, потом затих, и раздался треск — управляющий ударил кулаком по столу. Затем он выбежал из кабинета, за ним — секретарь. Геолог Яковлев прошагал спокойно и вышел на улицу, когда управляющий сидел уже в пролетке.

А дело было в том, что Яковлев открыл урквартовский секрет. Колчеданные месторождения обычно бывают прикрыты бурыми железняками, так называемой «железной шляпой». Сколько раз демидовская разведка наталкивалась на железную шляпу, которую даже разрабатывали потом, так как в ней часто содержится золото и серебро, но никто не думал, что под железной шляпой мог скрываться настоящий медный колчедан.

Ярость управляющего была особенно велика: он знал о том, что совсем недавно купцы Треуховы в семи километрах от Тагила, выкупив за гроши чей-то участок, начали разрабатывать богатейшую железную шляпу.

Купив у Коровина глину и приступив к эксплуатации, Треуховы обнаружили, что эти охристые железняки содержат исключительное количество золота. По предварительному анализу выходило, что на каждые сто пудов железной шляпы приходится два фунта золота. Руду послали на исследование в Екатеринбург, анализы подтвердились, проверили в Петербурге — выходило точно так же. Образцы были посланы в Париж, и там анализы показали такое же содержание золота.

Но Треуховы еще не знали, что под этим золотым кладом имеется другой, еще более ценный — колчедан.

Этим неведением и воспользовалось демидовское управление. Треуховых удалось оттеснить, и демидовское управление завладело месторождением. Место было названо Сан-Донато, в честь итальянской резиденции Демидова. Главный механик составил новый договор с Коровиным, в котором значилось следующее: «За предоставленное право на разведку недр Управление тагильскими заводами ежегодно уплачивает пятьсот рублей. Лес — в пользу владельца. Если результаты разведки окажутся благоприятными, управление обязано уплатить Коровину двадцать тысяч рублей».

Мечта о собственном писчебумажном магазине сбылась. Получив пятьсот рублей, Коровин бросил завод, купил еще одну корову, отремонтировал дом и часто теперь стоял у витрины лучшего в городе писчебумажного магазина, рассматривал линейки, записные книжки, пузырьки с чернилами, разноцветные ручки и карандаши, а потом, слегка прихрамывая, задумчиво шел домой.

На его покосах была забита шахта, в ней оказались богатейшие запасы руды, и, когда он уже ощущал призовые двадцать тысяч, началась революция.

Глава вторая

Котомошники

Когда Ваньке исполнилось семнадцать лет, ему понадобились новые сапоги, потому что отцовские больше не налезали на ноги. Весь месяц в доме шли разговоры о покупке сапог, но разговоры ни к чему не привели. Дома его заставляли квасить капусту, ходить за коровой, полоть на огороде. В школе он не учился, потому что отец отказался отдавать его в советскую школу, и в семнадцать лет Ванька был неграмотен.

Жизнь складывалась неудачно. Дом, хозяйство, шатанья по базару — вот и весь его житейский круг.

В семье во всем винили революцию. Она отняла ренту, призовые двадцать тысяч, выбила отца из колеи, сломила здоровье матери.

Покамест оставались кое-какие сбережения, жить можно было не так уж плохо, но с каждым годом золотых ста-

новилося все менше і менше, і чугунна шкатулка, которую прятал Коровин на чердаке, все чаще появлялася в комнате: он пересчитывал оставшийся капитал. Потом стали продавать вещи. Жить стало трудней.

Каждый день Ванька ходил на Биржу труда, но за весь год его только четыре раза посылали на временную работу — однажды он рыл канаву для каких-то труб, в другой раз грузил картошку и еще два раза разбираł железный лом. Была безработица.

Тем временем стало известно, что на месте коровинских покосов начались работы по добыче колчедана. На руднике требовалась рабочая сила, и многие ушли туда из города. Ванька тоже был бы не прочь пойти на рудник, но отец об этом и слышать не хотел. И, несмотря на это, в доме Ваньку попрекали, что он даром хлеб ест.

Осенью тяжело заболела мать, приходила бабка из Гольянки, но ничем не помогла. Доктора звать отец отказался, он слишком хорошо знал полкового врача Федорченко, чтобы уважать медицину.

Утром бабка пришла снова и разбудила Ваньку бормотаньем заговора на восстановление здоровья.

Ванька молча натянул рваные, рыжие от старости сапоги. В комнате горела восьмилинейная лампочка. Свет ее был прикручен, в углу за печкой шумели тараканы.

Он достал из шкафчика краюху хлеба и, кусая ее, пошел к двери. Навстречу из сеней вышел отец. Он был в исподнем, борода его была всклокочена, глаза мутные. В левой руке он держал свечку.

— Куда? — спросил он и загородил дорогу.

— Пусти, отец, — глухо сказал Ванька.

— Куда идешь? — заорал отец и схватил его за грудь. На Биржу Ваньке было рано, и отец сразу понял, что Ванька хочет идти на рудник. Он крепко держал его и тряс, приговаривая сквозь стиснутые зубы:

— Не пойдешь, не пойдешь...

Ванька с силой ударил отца по руке, вырвался и шагнул к двери.

Он слышал, как закричали мать и бабка, как ругался отец. Он вышел на улицу и пошел прочь.

Было еще совсем темно. В тишине утра слышен был шум завода, и где-то во дворах кричали охрипшие петухи. «Ладно, — шептал Ванька, — ладно». Других слов не приходило в голову.

Рассвет был мутный. Накрапывал дождь. Над заводом висело дымное, багровое зарево.

Он шел по дороге. Кругом был лес. На деревьях просыпались птицы. Сосны и ели стояли беззвучно. Дорога была размыта, грязные лужи хлюпали под его сапогами. Дорогу он знал. Она шла прямо от города, через лес, к холму. Рудник был на возвышенности. Ваньке было все равно. Пусть отец его проклянет, пусть выгонит из дому, жить так он больше не мог.

Когда стало совсем светло, дождь перестал и выглянуло солнце. Дорога заворачивала. Ванька оглянулся. Был виден город, низкостроенный, лежащий в заводском дыму, сквозь который с трудом пробивались солнечные лучи.

Вскоре показался рудник. Две избы, почерневшие от времени, дым над трубами. Потом площадка расширилась, он увидел два новых барака. За бараками поднимался железный копер. В детстве Ванька бывал здесь с отцом. Тогда ему казалось, что лес здесь густой, старый, поляна большая. На самом деле лес был молодой, полянка маленькая, местность была иной, чем представлялось ему раньше.

У первой избы на ступеньках сидел бритоголовый человек в грубых ботинках с обмотками из парусины. Рядом с ним лежала котомка. У бараков возились черные щенки, большая с добродушной мордой собака смотрела на них и повиливала мокрым хвостом. По левую сторону была лесосека. За пнями и мелким кустарником виднелись какие-то насыпи, вокруг которых копошились люди и двигалось множество лошадей, запряженных в таратайки.

Ванька подошел к бритоголовому и сел рядом.

— Не знаешь, где тут на работу берут? — робко спросил он.

— Брали их... Я вот тут второй день торчу. В конторе говорят работы нет, а тут жучки ходят — предлагают. Поставь, говорят, полбанки — в артель возьмем.

— А тебе — не на что?

— Одно дело — не на что, а другое — я сам не хочу. Нет такого права полбанки требовать.

Так они сидели и разговаривали. Ванька узнал, что фамилия бритоголового Шатунов. Он был гораздо старше Ваньки, но говорил с ним просто и незаносчиво, и это понравилось Ваньке. Шатунов спросил, где Ванькина котомка с харчами, и посмеялся, что Ванька с собой ничего не взял. Ваньку это не беспокоило. Лишь бы на работу

взяли. Ему очень хотелось, чтобы его взяли на работу. У него было такое чувство, что всю свою жизнь он только и стремился к этому.

И когда Шатунов предложил наниматься на пару, Ванька обрадовался. Но только как? На полбанки у него ведь тоже не было.

— И не надо, — сказал Шатунов, — чудак человек, мы без этого обойдемся. Тут заведующий есть, он вроде обещал взять.

Уже была пробита шахта Уралмедь, начатая еще Демидовыми. Теперь вели вскрышные работы на Серном руднике. Начата вскрыша была так: приехал управляющий трестом, человек не молодой, но тщеславный, ковырнул ногой землю и сказал:

— Вскрывайте.

В то время еще существовало жреческое отношение к горному делу.

Через месяц на месте, указанном им, закопошились люди, и десятки маленьких лошадок с длинной, как у собак, шерстью повезли породу в одноосных таратайках.

В том, что на указанном месте действительно оказался колчедан, не было ничего удивительного. Разведочные партии нащупали здесь месторождение.

Из крестьянских сел, деревень. и городов, с котомками, в которых лежали харчи на шесть суток, собирались на рудник всевозможные люди. Были тут и старатели, которым не пофартило, и крестьяне, у которых почему-либо не уродился или пропал хлеб, были кулаки, желающие избежать государственного обложения, были уволенные с заводов и просто пьяницы-бродяги. Они себя так и называли — котомошники. Те, у кого были лошади, присажали с семьями на своих таратайках. Те, у кого лошадей не было, присоединялись к приятелю, имеющему тягло. Так составлялись артели. В артели было человек десять — двенадцать. И все почти — из земляков. И только артель Ивана Мысова была сборная, в нее входили самые отъявленные проходимцы и дебоширы. Сам Мысов, огромный рыжебородый мужик, пришел с Туринских рудников. Почему он ушел оттуда, Мысов скрывал, и видно было, что к этому были основательные причины. Среди артельщиков Мысов сумел занять особое положение. По сути дела, на руднике не было фигуры более значительной,

чем он. Сам Мысов почти не работал, члены его артели работали и за себя, и за него и зарабатывали лучше всех на руднике. Об этом Мысов умел позаботиться.

Ванька Коровин и Шатунов сидели на ступеньках и грелись на солнце. Заведующий все еще спал. Шатунов молчал. Ванька не прочь был бы расспросить, какая работа может им попасться, но стеснялся.

В избе скрипнули полы, хлопнула дверь, и на крыльцо вышел мужчина с измятым красным лицом. Один ус у него был черный, другой — совершенно седой. На вид ему было лет около пятидесяти. Шатунов встал, за ним поднялся Ванька и снял шапку:

— Так как же, товарищ Кошкарев? — спросил Шатунов.

Заведующий потянулся, зевнул.

— Ты еще здесь? — удивленно сказал он. — Да ты, я вижу, шустрый.

Он положил левую руку на плечо Шатунову, а правой взял его за подбородок, как ребенка. Взгляд у заведующего был добрый и немного насмешливый.

— Не возвращаться же мне назад, — сказал Шатунов, — ведь я пешком перся.

— Ну, это не резон. Ты — дядя вострый и назад можешь, — но тут Кошкарев задумался, поскреб небритую щеку и промычал: — Куда же тебя взять?

— Нас теперь двое, — сказал Шатунов и показал на Ваньку.

Кошкарев всплеснул руками и рассмеялся.

— Откуда ты его взял? Ай-я-яй! Вас еще целая артель наберется! — И, покачивая головой, он вынул из кармана блокнот и написал записку. — Техника Уткина найдешь. Тут на вас двоих. Он устроит.

Кошкарев сошел с крыльца, закричал страшным голосом на собаку, отчего та испуганно поджала хвост, затем подозвал ее, присев на корточки, погладил и, насвистывая, вразвалку направился к шахте.

Шатунов насмешливо посмотрел ему вслед и сказал:

— Вот мы и без водки обошлись.

Они пошли между пней, по кустарнику, туда, где видны были кучки земли и лошади с таратайками. Там было шумно. Громко кричали люди, ржали лошади, звенели лопаты. Коннозабойщики в глубине котлована рыли землю,

выбрасывали ее на широкую берму¹, отсюда другие бросали уже прямо в таратайки. Возчик отвозил породу в сторону, опрокидывал таратайку на ось, земля высыпалась; постучав лопатой о днище, он хлестал лошадь, и пустая таратайка переворачивалась и становилась правильно на ось.

Техник Уткин оказался молодым парнем в брезентовой робе, измазанной в глине. Он поднялся с бермы, когда Шатунов его окликнул, и подошел к ним. Прочитав записку, сказал:

— Здесь, ребята, дело нелегкое. Тут вон какие сударики орудуют. Ну, да вы, видно, поладите.

Он покачал головой и пошел в контору.

Работа пришлась Ваньке по душе. Взяв лопату в маленькой кладовке, сколоченной возле разреза, он спускался вниз и, плюнув на ладони, рыл землю. Красноватого отлива земля тяжелыми ломтями ложилась на лопату; не оборачиваясь, он приподнимал ее, швырял через плечо на берму. Рядом с ним работал Шатунов.

Все было очень просто. Кончив смену, они складывали лопаты в кладовку и шли в барак.

В длинном и сыром бараке было темно от махорочного дыма. Посредине возвышалась большая обмазанная глиной плита. Вокруг трубы на проволоке сушились портянки. В четыре ряда, вплотную одна к другой, стояли койки. Люди спали на них, как на нарах, — локоть к локтю. Но мест все равно не хватало. Спали посменно.

Похлебав щей, которые готовила грязная стряпуха, рабочие заваливались на койки, орали песни, переругивались по каким-нибудь пустякам, потом спали. В дальнем углу, который занимал Мысов со своими ребятами, стоял большой стол. Каждый вечер вокруг стола рассаживалась мысовская артель. Появлялась водка, они пили до ночи.

В субботу барак пустел. Котомошники расходились по домам, кто в Тагил, кто в Черноисточинск, а кто еще дальше. В бараке оставались мысовские ребята, Шатунов да Ванька. Ванька не хотел возвращаться домой, Шатунов делился с ним харчами так же, как делали ребята Мысова.

Однажды в барак пришел техник Уткин. Он пробрался между койками в угол Мысова. Мысов сидел на лавке,

¹ Б е р м а — горизонтальная площадка между двумя откосами.

упершись левой ногой в койку, а с правой Илюшка Чихлыстов, лодырь и халуй, стягивал сапог.

— Здорово! — сказал Уткин.

— Здорово, корова, — кряхтя ответил Мысов, — что скажешь?

— Отдыхать собираешься?

— Что ты, друг ситный, кадрель плясать!

В бараке заржали. Илюшка снял сапог и взялся за второй. Уткин сел на лавку и толкнул Чихлыстова в лоб. Тот выпустил сапог и сел на пол. Мысов, подбоченившись, смерил взглядом Уткина.

Уткин спокойно усмехнулся и сказал, что раз человек пришел по делу, значит, сапоги могут и обождают. Он рассказал свой план разделения труда в артели. Мысов слушал его с презрением, но потом заинтересовался.

— Это что же, ваше предложение или приказ хозяев? — спросил он.

— Пока — мое, — ответил Уткин, — ваша выгода.

Мысов засмеялся, протянул Илюшке ногу и сказал:

— Ты нам выгоду не указывай. Мы сами с усами, — и, поднеся кулак к носу Уткина, пробурчал: — Тоже мне, интеллигенция. Бутерброд с салом.

Два раза в неделю из Тагила приходила молодая курноса́я девушка, студентка педтехникума, и учила желающих читать, писать и четырем правилам арифметики. На табуретку ставили вделанный в раму лист кровельного железа, за стол садились коннозабойщики — молодые и старые с бородами до стола, когда они сидели на лавке. Учительница раздавала тетрадки (она носила их с собой, так как оставлять здесь нельзя было — раскуривали на цигарки), вынимала мел и начинала писать на синеватом железе буквы. Ваньку заинтересовало это дело, и он попросил учительницу, чтобы она его тоже записала в группу. Он стал учиться вместе со всеми и вскоре уже умел написать «мама». Это было удивительное ощущение, когда он написал как-то слово и показал Шатунову, ничего не говоря, и тот прочел громко и удивленно: «мама».

Как-то вечером после урока, когда в бараке никого не было, Ванька вспомнил о доме. Давно не был он дома. А дома все-таки было не так уж плохо. Пища была гораздо лучше. Мать была. Можно было уйти на чердак и

сидеть там. Внизу улица видна. Или на сеновал под крышей коровника. Вечером по городу можно было гулять. Люди перед воротами на лавочках сидели...

В это время дверь отворилась, и вошел отец. За плечами у него висела котомка, в руке он держал кошелку, покрытую тряпкой. Ванька очень удивился, увидев его. Отец вошел, перекрестился и молча, слегка прихрамывая, пошел к Ваньке.

— Живешь? — спросил он. — Ну, ничего. Живи.

Он сел на койку, осторожно поставил у ног кошелку, котомку сбросил на одеяло и степенно расправил бороду.

— А что с матерью? — испуганно закричал Ванька.

— Ничего. Скрипит, как скрипела. Ну, а ты как?

Ванька рассказал отцу, как он сюда попал, как устроился, как работает, как живет. Отец слушал, кивал головой, усмехался в бороду.

— И дурак, — сказал он, когда Ванька сообщил, что нужно было ставить выпивку, чтобы взяли в артель, а он этого не сделал, потому что такого закона нет.

О себе отец ничего не говорил, и Ванька не понимал: на работу ли он пришел наниматься, сына ли проведать. или, может быть, старые свои земли посмотреть.

Вскоре на улице слышались голоса, и в барак ввалился Мысов со своими ребятами. Отец встал и вышел в проход навстречу. Иван Мысов увидел его, широко раскинул руки и зарычал:

— Отец, благодетель!

Они жали друг другу руки, хлопали по плечам, о чем-то заговорили с большим интересом.

Потом Мысов провел Лазаря Александровича в свой угол, посадил за стол. Коровин скинул тряпку с кошелки и вынул три бутылки очищенной. Достали закуску. Пили они долго, Ваньку не приглашали, и он лег спать.

Сквозь сон он слышал крики, пьяное пение, ругань. Среди ночи его растолкал отец.

— Ну-ка, подвинься, — сказал он, дыша водочным перегаром, — учись, щенок, как надо устраиваться.

Утром, когда Ванька проснулся, рядом с ним храпел отец. Шатунов спал на полу, у койки.

Многие коннозавойщики мечтали попасть в артель Мысова. Мысов был артельщиком крутым и спуску своим ребятам не давал. Но в его артели зарабатывали больше

всех, жили лучше, работу выбирали наиболее удобную, Попасть в артель к Мысову было нелегко. Не каждый мог даже за водку попасть в его артель. Некоторых Мысов обещал взять к себе только в том случае, если им удастся напоить его допьяна. Он мог пить ведрами не пьянея. А так как добивающийся места тоже пил, то в конце концов пьяным как стелька оказывался именно он.

Но Лазарь Александрович почему-то сразу же попал в артель Мысова. Какие-то старые отношения были между ними, хотя Мысов и пришел сюда с Туринских рудников.

Вскоре отец предложил и Ваньке перейти в артель Мысова. Артельщик соглашался его взять. Ванька спросил о Шатунове, но отец об этом даже говорить не хотел. Он почему-то чувствовал неприязнь к Шатунову, все приглядывался к нему, шептался о нем с Мысовым.

Ваньке, конечно, хотелось перейти в артель Мысова. В последний раз его коннозабойщики заработали по триста рублей, раза в три больше, чем другие. Ванька решил посоветоваться с Шатуновым, но тот уклонился от разговора. «Небось он завидует мне», — подумал Ванька и перешел в артель Мысова.

В работе никаких перемен как будто не произошло. Мысовские ребята работали точно так же, как и в других артелях. Начиная выборку нового яруса, оставляли кочку для обмера и метр за метром от нее выбирали землю. Покопав с час, они садились покурить. Мысов рассказывал какую-нибудь забавную историю. У него был неиссякаемый запас всяческих историй. А к концу смены приходил табельщик, тощий паренек в городском пальто с хлястиком назад. Коннозабойщики потихоньку вешали ему на хлястик веточки, куски проволоки, иногда даже грязную тряпку. Табельщик ходил по разрезу с этими украшениями, ничего не замечая. Рабочие покатывались со смеху.

— Откуда мерить? — всегда спрашивал табельщик Мысова.

Мысов тыкал пяткой в землю и отвечал:

— Меряй отсюда.

На этом месте работали три дня назад и кочку уже срывали, но табельщик, ни слова не говоря, начинал мерить, откуда показано.

Начались морозы, но работы продолжались в обычном порядке. Земля только стала тверже, копать стало трудней. Вскоре Шатунова перевели в десятники, и теперь он

проверял обмер табельщика. Теперь уже нельзя было мерить от пятки. Но Мысов и на это нашел выход. Когда Шатунова поблизости не было, он аккуратно, у самого основания подрезал кочку и с помощью Чихлыстова оттаскивал ее назад. Илюшка справлял на земле малую нужду, Мысов ставил в лужицу кочку, и через пять минут ее крепко прихватывало морозом.

Видя эти махинации, Ванька не выдержал и сказал отцу. Но отец засмеялся, потом покраснел и сердито буркнул:

— Краденое и красть не грех.

Он считал, что покосы его и земля его и коннозайчишки имеют право мошенничать с обмером. Ваньке он посоветовал не соваться не в свое дело. Ребята таких вещей не любят. Уронят его в отвал — мать родная не узнает.

И Ванька молчал. Шатунов теперь жил вместе с техником Уткиным в домике администрации. Ванька виделся с ним редко. Теперь Шатунова величали по имени-отчеству — Яков Андреевич, и он, конечно, загордился.

Много времени прошло с начала работ, а добыча на Серном руднике шла плохо. Шахта Уралмедь тоже работала кое-как. Плана рудник не выполнял, себестоимость руды была очень высокая. Иногда в барак заходил Кошкарёв и, покручивая свои разноцветные усы, заводил разговор о том, почему ребята плохо работают. Мысов с ним был очень любезен. Илюшка Чихлыстов доставал водку, они начинали выпивать, Кошкарёв быстро пьянел, и разговор о плохой работе сам собой прекращался. Кошкарёва укладывали на койку Мысова, и заведующий рудником спал на ней до утра.

Ванька не понимал, кто прав, кто виноват. Мысов казался ему нехорошим человеком, а Кошкарёв — хорошим. Но Кошкарёв жил с Мысовым, спал на его койке, значит, Мысов был не такой уж плохой человек, или Кошкарёв не такой уж хороший.

Как-то после смены Шатунов позвал Ваньку и предложил ему прогуляться. Мороз был несильный, кое-где лежал снег. Они прошли мимо шахтного копра в лес. Ванька догадывался, зачем Шатунов его позвал.

На рудник они занимались вместе, но теперь Шатунов уже был десятником, а Ванька по-прежнему работал зе-

млекопом. Почему так произошло? Иногда он во всем винил самого себя, своего отца, свой дом, выкрашенный желтой краской. Потом снова начинал злиться на Шатунова.

Они вышли на берег Ользовки. Речку уже покрыло льдом.

— Я хотел с тобой поговорить вот о чем, — начал Шатунов. — Ты, по-моему, слишком сдружился с мысовскими ребятами. Даже водку с ними начал пить.

— А тебе завидно? — спросил Ванька.

— Ты дурак, — сказал Шатунов.

Ванька обиделся. Одно дело, когда отец называл его дураком, на то он и отец, но какое право имеет на это Шатунов? Что он в учителя лезет? Подумаешь, стал человек десятником...

Шатунов спустился к речке, поднял камушек и бросил на лед. Лед хрустнул, и камень, булькнув, ушел на дно. В отверстие была видна черная вода. Шатунов повернулся к Ваньке и заговорил о том, что коннозаводчики мошенничают. Сегодня он прислонился к кочке, сапог поправлял, а кочка упала. Кто это объяснит?

— Ну, а я при чем? — смущенно спросил Ванька. — Артельщика спрашивай.

— Нужно будет, я и артельщика спрошу, а сейчас я тебя спрашиваю.

— Не твои деньги воруют. Чего ты беспокоишься? — сказал Ванька.

Шатунов сердито засопел и скрутил сигарку.

— Ты бы лучше в город грабить шел. Там можно больше взять, ежели, например, сберегательную кассу ограбить. Ты честный человек или вор? — закричал он вдруг. — Если ты честный, так и работай честно!

Ванька промолчал. Он подумал, что, может, оттого он и в гору не идет, что до рудника ему, по существу, нет дела. Платят — он работает, не больше.

— Нужно сделать перемер, — говорил Шатунов. — Мы это так или иначе сделаем. Лучше будет, если и ты нас с Уткиным поддержишь.

— А если убьют? — спросил Ванька.

Шатунов сплюнул и засмеялся:

— Не убьют, мы живучие.

Но Ванька молчал, переминаясь с ноги на ногу. В конце концов он здесь маленький человек. Не ему решать

все эти вопросы. Шатунов дело другое, он — десятник. Глядишь, завтра его, чего доброго, заведующим рудником поставят.

На другой день на Серный рудник пришли Кошкарев, Шатунов и Уткин. С ними были еще десятник по фамилии Скакун, маленький, толстый человек. Он бегал вокруг, кричал на людей, потом подбегал к Кошкареву и, суетясь, настаивал, что замер работ правильный, проверять нечего, только людей разволнуешь.

— Вот и посмотрим, какой правильный, — говорил Уткин.

Кошкарев молчал, крутил усы и виновато посматривал то на Уткина, то на Шатунова. Ему тоже очень не нравилась эта затея. Он боялся, что Скакун окажется прав, перемер ничего не даст, и только люди разобидятся.

Когда начали перемер, к Шатунову подошел Мысов и тихо сказал:

— Смотри, Яшка, не ошибись. А не то пускай тебе на гроб за одно смеряют.

Старик Коровин стоял в стороне среди коннозабойщиков и взволнованно тонким и жалостным голосом, какого Ванька никогда у него не слышал, вопил:

— Выходит, нам доверия нет! Выходит, нас за гадов считают!

— Брось, отец, — тихо сказал ему Ванька, — поймали, значит, молчать надо.

Коровин исподлобья взглянул на него, налился кровью, но ничего не ответил. Тогда к Ваньке подскочил Чихлыстов и злобно прошипел:

— Это ты выдал, гнида? Ну, потерпи маленько, не порадуетесь!

Ванька печально покачал головой и пожал плечами.

Приступили к перемеру. Шатунов и Уткин развернули рулетку, Кошкарев записывал. Когда сравнили кубатуру вынутой земли с показаниями табеля, выяснилось, что коннозабойщикам приписано десять тысяч лишних кубометров грунта.

Ночевать Ванька ушел к Шатунову. Спал он плохо. Все время ему слышался шорох у двери, казалось, что в окно кто-то смотрит. Ему было страшно.

Но утром начался обычный рудничный день, словно ничего особенного не произошло вчера, и на работе Мысов подошел к Ваньке и, хлопнув его по спине, сказал смеясь:

— Не дрейфь, дело обычное. Один ворует, другой ловит. Каждому свое.

На другой день Шатунову дали путевку на курсы повышения квалификации горных десятников, и он уехал в Нижний Тагил. И это было сделано так, точно Шатунова спешили убрать с рудника.

Десятника Скакуна отдали под суд. Табельщика прогнали. Но Мысова не тронули, и он по-прежнему возглавлял свою артель.

Ванька остался жить на месте Шатунова — с техником Уткиным. Жил он теперь осторожно, по вечерам не выходил из дому, но время шло, и ничего подозрительного он не замечал.

Вскоре Кошкарёва сняли за пьянство. Пришел новый заведующий, но и он недолго продержался. Заведующие начали сменять один другого, а добыча не поднималась.

Глава третья

Новый директор

Поздно вечером на территорию рудника вкатил извозчикий фэтон. Два фонаря с зеркальными стеклами мерцали на его крыльях. Тоненькие церковные свечки горели на фонарях. В описываемое время за две сотни километров в окружности извозчик и огарка не смог бы найти.

На козлах стояли чемоданы. В фэтоне сидел человек.

На руднике было темно, как в погребе. Только у надшахтного здания виднелся свет. У длинного и темного дома, где помещалось рудоуправление, дремал сторож. Приезжий, разглядев в темноте его фигуру, сказал извозчику:

— Подожди, человек, кажется, — и крикнул: — Эй, дядя!

Сторож проснулся и подошел к фэтону. Свет фонарей заблестел на стволе его берданки.

— Чего тебе? — спросил он и перекинул берданку с руки на руку.

— Где здесь дом приезжих?

— Дом приезжих? — удивился сторож. — Такого здесь нет. Тебе гостиницу, что ли?

— А гостиница есть? — обрадовался пассажир.

— Гостиница, она, брат, в Тагиле.

Пассажир сплюнул и выругался. Вот бестолочь! Он же из Тагила и приехал.

— А где же тут переночевать? — закричал он.

— Ты на меня не кричи, — спокойно сказал сторож, — Приезжают всякие. Переночевать и в командировочной комнате можно.

— Так я же и спрашиваю.

— Спрашиваешь, да не то. Гостиницы здесь нету, — вразумительно сказал сторож.

— Ну а командировочная комната где?

— Была в пятом, возле каланчи, а позапрошлый месяц перевели куда-то.

Приезжий снова выругался и спрыгнул с фаэтона. Он хотел уже постучать в чье-нибудь окно, но тут перед ним возник человек. Это был Ванька Коровин.

— В чем тут дело? — спросил он.

— Ездят тут по ночам, — с раздражением заметил сторож, — то им гостиницу подавай, то еще чего-нибудь.

— А вы кто будете? — спросил Ванька.

— Я — Сигиденко, новый директор, — сказал приезжий.

— Так вас тут днем ждали! — удивленно вскрикнул Ванька.

— Я же телеграмму давал, что дачным выезжаю из Свердловска. Думал, за мной машину или лошадь пришлют. Ждал до ночи.

Ванька рассмеялся.

— Тут такого правила не существует — лошадей присылать. Вы приезжий, не знаете, — он участливо покачал головой. — Вам нужно в комнату командировочных? Это за коммуной.

Он махнул в темноту. Новый директор кряхтя полез в фаэтон. Извозчик невозмутимо зацокал на лошадей. Фаэтон тронулся. Ванька посмотрел вслед и крикнул:

— Пожалуй, без меня вам не найти!

— Тпру-ру-ру! — сказал извозчик.

— Езжай за мной, дядька, я покажу, — сказал Ванька и зашагал вперед.

Ванька работал теперь на шахте Уралмедь отгребщиком. Первое время ему очень не нравилась работа на шахте. Нужно было спускаться по сбитым и скользким ступенькам лестницы, по темному и тесному ходу. На груди болталась тяжелая карбидка, она постоянно гасла, пока он

спускался по лестницам, и приходилось в темноте, крепко держась за мокрые перекладины, ногами нащупывать следующие ступеньки. Ему всегда казалось, что ступенька, на которую он хочет ступить, сорвется или ее не окажется совсем, и он полетит в темноту пролета. Сверху его настигали спускающиеся за ним рабочие, и так как спускались они быстро, он обыкновенно не успевал крикнуть им, и ему наступали на руки. Это было и больно, и обидно. А нагнавшие смеялись и ругали его за медлительность. Он прижимался к сырым срубам ходка, пропуская их мимо себя, и долго слышал, как гудят в ходке их голоса.

В штреке горел яркий свет, но нависшая крепь, иногда раздавленная осевшими породами с острыми зубьями изломов, выпиравших в проход, свист воздуха, просачивающегося в трубах воздухопроводки, глухие взрывы в забоях, когда шахта словно вздыхала глубоко и протяжно, — все это угнетающе действовало на Ваньку. На открытых работах, когда у тебя над головой небо — гораздо лучше.

А потом Ванька привык и находил даже, что в шахте работать не так плохо, ни дождь тебя не замочит, ни жара не изведет, а зимой и подавно — температура, как в комнате. Теперь он не хуже других сбегал по ступенькам лестниц, потрескивания крепи в штреках его не страшили, на далекие взрывы отпалки он не обращал внимания.

Иван Мысов тоже работал здесь, в шахте, бригадиром забойщиков. Жил он по-прежнему в бараке со своими ребятами, пьянствовать не переставал. Но, несмотря на это, слыл на руднике лучшим забойщиком, и его бригада шла впереди всех.

Шатунов был заведующим участком, где работал Ванька. Его теперь и узнать нельзя было. Он стал одеваться в костюм, носил ботинки с замшевым верхом. На рудник он перевез из родного города свою семью. Словом, был настоящим начальником.

Шахтой Уралмедь заведывал Барабанов. Это был старый практик и самодур. Он был технически совершенно безграмотен. Он не верил в теодолит, расчетов не признавал, в чертежах не находил никакой пользы. Когда надо было производить измерения, он говорил:

— У меня глаз — ватерпас, — и прогонял работника с теодолитом.

Лазарь Александрович Коровин свой дом в Тагиле сдал квартирантам, жену перевез на рудник и теперь заведы-

вал поверхностью. Барабанов дал ему квартиру из двух комнат с кухней, и телефон даже провели, но при разговорах с Ванькой он по-прежнему утверждал:

— Моя земля, мои покосы.

Ванька жить с родными не хотел и остался в старой комнате. Теперь его сожителями были счетовод и экспедитор из рудоуправления. После работы к ним в комнату приходил Молодых из пожарной охраны, Кум-пожарник, как звали его на руднике, и они садились за стол играть в подкидного дурака.

Обедал Ванька в столовой. По вечерам встречался с Марусей. Маруся работала в той же шахте кладовщицей. Она немножко была похожа на ту девушку, которая приходила сюда из города и учила коннозабойщиков грамоте. Ванька гулял с ней по поселку, иногда в компании с гармонистом во главе, иногда они сидели вдвоем у школы, на бревнах.

Многое на руднике переменилось за это время. Рудник разросся, шахты углубились. Теперь здесь был уже настоящий поселок с магазинами, ларьками, почтово-телеграфным отделением, сберегательной кассой, загсом, столовой. Рудник называли именем III Интернационала.

Но работы по-прежнему велись плохо. Стволы в шахтах были негодны, штреки заваливались, добыча не шла. Единственным инженером на руднике был техрук Вайпулин. Когда-то он был хорошим, знающим инженером. Но много лет он жил и работал в среде практиков, постепенно растерял все свои знания, позабыл читанные книги. Среда засосала его. Теперь он и сам ничем не отличался от практиков. Нововведений боялся, механизмов не понимал. Жил, как жили здесь все: свое небольшое хозяйство — корова, огород, сенокос. Он сам косил, полел грядки, ходил в лес по дрова, таскал воду из колодца. Когда нужно было ехать в город, он вызывал лошадь с конного двора, кучер подводил ее к крыльцу и отправлялся восвояси. Технический руководитель сам правил лошадей, в городе заезжал к какому-нибудь знакомому и, задав корм, оставлял лошадь на присмотр. Знакомых в городе у него было много.

На следующий день Ванька встретился с новым директором. Ваньку в этот день поставили на поверхность отгребать руду возле эстакады. Директор был одет в гряз-

ную баранью курточку, в охотничьи сапоги, на голове у него была старенькая засаленная шапка. Директор узнал Ваньку и, широко взмахнув рукой, сказал:

— Здорово!

Директор Ваньке понравился. Еще вчера, когда Ванька провел его к дому приезжих и зашел вместе с ним в комнату, Сигиденко расспрашивал его, как живется и как работает на руднике, хорошо ли обстоит дело с питанием, с зарплатой. Директор был душевный парень, говорить с ним было легко и приятно. Со стороны он выглядел даже смешным — круглое, чисто выбритое лицо, оттопыренные уши и длинный плоский нос. Курил он махорку, которая лежала у него в жестяной коробочке из-под зубного порошка.

При осмотре поверхности директора сопровождали Вайпулин и Лазарь Александрович. Лазарь Александрович давал объяснения. А объяснения требовались на каждом шагу. Трудно было представить себе, каким образом за короткий срок существования рудника могло скопиться столько отбросов, ржавых балок и шестерен, старых досок, битых кирпичей. Кучи железного лома преграждали вход в рудоподъемку. У ламповой стояли бочки из-под цемента. Во многих цемент не был использован и, смоченный дождями, окаменел. У деревянной эстакады, куда выдавались вагонетки с рудой, валялись какие-то механизмы, металлические части которых были заржавлены, а на деревянных полопалась и выцвела краска.

— Что у вас здесь лежит? — спрашивал все время Сигиденко.

И каждый раз Вайпулин вопросительно смотрел на Коровина, а Коровин на Вайпулина. Ни тот, ни другой не знали, что у них делается на поверхности.

— Мы пробовали произвести инвентаризацию, но не закончили, — сказал Вайпулин. — Столько всякого хлама...

— Хлама! — повторил Сигиденко, — а в этом хламе, может быть, ценные вещи есть.

— Может быть, — сказал Коровин, — только нам они не нужны.

В это утро не успели вовремя подать думпкары¹, и руда переполнила бункера. Руду стали ссыпать прямо у эстакады. Серовато-синие куски, сброшенные сверху, рас-

¹ Д у м п к а р ы — стальные самопрокидывающиеся платформы.

сыпались по земле. Пришел Коровин, раскричался и приказал досками отгородить место, чтобы руда ложилась в кучу. Для этого он велел взять новые двухдюймовые доски, которые валялись у надшахтного здания. Плотник пилил их сейчас на куски.

Сигиденко увидел это и остановился.

— Зачем доски пилят? — спросил он.

— Руда рассыпается, — ответил Коровин, — мы загородку делаем.

Сигиденко показал на грудку старых досок и спросил:

— А те вам нужны?

— Нет, — ответил Коровин.

Он показал на другую грудку:

— А эти?

— Нет, — снова сказал Коровин.

— А эти нужны? — со злобой закричал Сигиденко и ткнул рукой на новые доски, которые распиливал плотник.

— Эти нужны. Из них загородку будем делать.

Директор покраснел, замахал руками.

— А экономия? — закричал он, — а себестоимость? Тут старые гниют, а вы новые пилите?

Он орал, размахивал руками, Ванькин отец оторопел, потом нерешительно снял шапку, плотник перестал пилить и с удивлением, открыв рот, смотрел на директора.

— Вы шапку передо мной не снимайте. Я не поп и не барин. А за новые доски вы мне ответите!

Он круто повернулся и пошел в раскомандировочную. За ним, опустив голову, поплелся Вайпулин.

Ванька с любопытством смотрел им вслед. Вот пойди догадайся, что с виду такой свойский человек может задать такую нахлобучку. За отца ему было неприятно. Какие бы отношения ни были между сыном и отцом, отец для сына человек, может быть, и не авторитетный, но, во всяком случае, в достаточной мере уважаемый. А тут вдруг ему такую баню устроили.

Лазарь Александрович медленно надел шапку и покачал головой.

— А ты чего рот раскрыл? — заорал он вдруг на сына. — Поставили работать — работай. Нечего ворон ловить.

Сигиденко говорил:

— Я не горняк, я металлург.

Но это и без его заверений было заметно сразу. По штрекам он шел, пригибаясь больше чем надо, но иногда, позабыв, выпрямлялся и основательно стучался кожаной шахтерской каской о крепь, поддерживающую кровлю. При этом он ругался и делал страшное лицо. Вайпулин, усмехаясь в усы, опускал глаза и говорил участливо:

— Осторожно, Иван Ильич, не расшибитесь.

— Почему у вас сплошные шепеля?¹ — кричал Сигиденко и тыкал пальцем в трубы воздухопроводки. Вайпулин разводил руками, освещал карбидкой трубу и, постукивая пальцем, печально отвечал:

— Трубы плохие.

С грохотом сыпалась руда в вагончики. Серые от пыли кáтали матерились у дучков², закрывая люки досками. Потом катили вагончики, поминутно останавливаясь, потому что пути были засорены и все время под колеса попадались куски руды; часто вагончики сходили с рельсов, и тогда в штреке раздавалась такая громкая брань, что даже свиста шепелей не было слышно.

На другом участке руду везли на тачках, по доскам, хлюпающим в воде, и опрокидывали над черной дырой, куда с грохотом улетала руда.

Сигиденко смотрел на все это, пожимал плечами, сердился и спрашивал:

— Почему вы откатку не механизуете?

— Пробовали, — печально отвечал Вайпулин. Он подвел Сигиденко к лебедке. — Пытались бесконечную откатку ввести. Ничего не вышло.

— Почему не вышло?

Вайпулин разводил руками:

— Не шло...

Потом Вайпулин повел директора в забой Мысова.

— Вот вы увидите бригадку, — говорил он, — ух крепкий народ. Горы ворочают!

Он открыл вентиляционную дверь, в лицо пахнуло жаром, громко затрещали перфораторы, свист воздуха в шепелях стал оглушающим.

Мысов, голый до пояса, с серой и шероховатой от пыли спиной, мелко тряся, держа у плеча работающий пер-

¹ Ш е п е л я — свист воздуха в трещинах или в щелях воздухопроводки.

² Д у ч к и — узкая выработка.

форатор. Илюшка Чихлыстов, тоже полуголый, сидел у забоя на бревне и курил.

— Мысов, — крикнул Вайпулин, — познакомься с новым директором.

Мысов отключил воздух, опустил перфоратор и повернул грязное, рыжебородое лицо. Грудь у него была широкая, мощная, как у памятника, с рыжими, позеленевшими теперь от пыли волосами. Вайпулин положил руку на его плечо и подвел к Сигиденко. Они поздоровались. За Мысовым подошел к директору Чихлыстов.

— Это Илюшка, — сказал Мысов, — мой оруженосец.

Сигиденко понравились эти ребята. Он улыбнулся и заметил лежащую на почве довольно солидную машину с тонкими металлическими ножками.

— Это что такое? — спросил он.

— А это телескоп, — сказал Мысов.

Сигиденко удивился. Нашли где астрономией заниматься...

— Перфоратор системы «Телескоп», — шепнул Вайпулин и добавил громче: — Мощная машина, но, говорят, работать нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Сигиденко.

— Тяжелый очень, — сказал Мысов, — мощный-то он мощный, а работать им нет возможности.

— Его установить надо, он станковый, на ножках. А устанавливать некому, да и работать на нем не умеют. Осваивать надо, — сказал Вайпулин.

— Так в чем же дело, товарищи? — сказал Сигиденко. — Надо установить, освоить.

— Все равно воздуху не хватит, — сказал Чихлыстов, — вон, на «джека»¹ едва-едва дает.

— Ну, это ты брось, — строго сказал Вайпулин, — воздуху у нас достаточно.

— Пыль сдувать таким воздухом...

— Ладно, поговори... — сказал Мысов.

Покачивая круглой своей головой в шахтерской каске, Сигиденко пошел назад.

А вечером на руднике стало известно, что новый директор оштрафовал заведующего поверхностью на сто рублей и снял его с должности. Кроме того, в приказе ставилось на вид начальнику шахты, что не использует мощных перфораторов «Телескоп».

¹ Д ж е к — система перфоратора.

Начать техническое переустройство рудника Сигиденко было трудно. В горном деле он был несведущ, а руководящий персонал ничем ему помочь не мог. В ожидании новых технических кадров Сигиденко занялся бытовым переустройством. Решил улучшить быт рабочих и руководящего персонала: самолично обходил бараки, дома, учил людей чистоте и порядку. Он интересовался столовой, качеством приготовленной пищи, попытался создать иную бытовую обстановку техническому руководителю. Ему было совершенно ясно, что главный инженер рудника не должен колоть дрова и таскать воду из колодца. Такие мелочи любого человека могут отвлечь от прямых его обязанностей. Сигиденко назначил Коровина на должность дворника и кучера при Вайпулине. Что переживал Коровин — нетрудно представить. Он принял новое назначение как страшнейшее оскорбление: бил, избивал жену, но до поры до времени старался не проявлять своего недовольства. Он ожидал, что за ним последуют другие обиженные или оскорбленные, и тогда будет кому поддержать и его.

Сигиденко часто спускался в шахту, но ничего сделать не мог. Кустарщина, аварии, порча компрессоров, — все это нервировало и его, и людей, а сил для исправления не было. Даже экскаваторы, полученные для открытых работ, работали хуже, чем коннозабойщики в свое время.

Это был Урал. Здесь были свои понятия, свои порядки. Люди не уважали ни себя, ни свой труд. Друг друга они звали Степка, Петька, Ванька, хотя тот или другой Степка или Ванька носили седую бороду до пупа.

Какая-нибудь Марфушка, жена седобородого Степки, успевшая народить уже восемь ребят, выходила на крыльцо своего дома и кричала мужику:

— Степья, иди пирог есть!

И «Степья» бросал свое рабочее место и шел в дом есть «пирог».

Сигиденко ходил по руднику, круглолицый, бритоголовый, курил свои сигарочки из махры, и над ним в открытую смеялись люди. Сигиденко учил, агитировал доказывал, а над ним смеялись. Он был добродушен, мягок, пожалуй, и люди чувствовали это. Они чувствовали, что один против сонма практиков он беспомощен. Сигиденко нервничал, иногда кричал, снимал с должностей, писал выговоры, но людей и это не трогало. Они были привычны и

к пьяному мату Кошкарева, и к пространным рассуждениям сменившего его Бессонова. Они были уверены, что и этот новый директор уйдет отсюда столь же бесславно, как уходили другие до него.

Ванька тоже был в этом уверен.

Новые люди сюда ехать отказывались. Первым из новых работников на рудник прибыл Сухаков. Он сошел с поезда на станции Сан-Донато в дни глубочайшего прорыва. Это был молодой инженер.

По окончании института он хотел поехать в Карабаш, но обком партии направил его на прорыв на «III Интернационал» в качестве главного инженера шахты Урал-медь. Ему предстояло работать с Барабановым.

Шахта в то время была маленькая, разрабатывались только три верхних горизонта, копер был старенький, — «демидовский коперишко», — говорили о нем. Одновременно с добычей колчедана выбирали железную шляпу, оставшуюся от прежних разработок. Это очень затрудняло работы, и приходилось изворачиваться, так как горным надзором запрещалось обрушение руды, в то время, когда наверху разрабатывалась шляпа. Сухаков сразу же предложил старую систему разработок сменить на систему обрушения. Это, во-первых, значительно подняло бы добычу, а во-вторых, дало бы возможность с большей легкостью забрать шляпу. Но Барабанов этому воспротивился. Его поддержали другие: «Молодые инженеры только шахту загубят».

Рабочие, конечно, были в курсе всех споров, и многие из них поддерживали «старичков». Может ли он, только что окончивший инженер, правильно применить свои познания на практике? Знает ли он характер залегания на Сан-Донато?

Потом на рудник прибыл геолог Лепинский.

Вдвоем с топографом он шел из Тагила по шпалам. Ночь была темная. Моросил дождь. С баулами за плечами они шагали по шпалам, они были молоды, и расстояние в семь километров не страшило их. В час ночи они миновали станционную бухту Сан-Донато.

Поселок лежал в темноте. Шумел дождь, и где-то в темноте с назойливой повторяемостью грохотали опрокидывающиеся вагончики.

Лепинский увидел освещенное окно. Он постучал, на стук высунулась чья-то голова.

— Где тут квартира для приезжающих? — спросил Лепинский.

— Она самая, — сказал человек, — только теперь я ее занимаю.

Это был Сигиденко. Он впустил Лепинского и топографа. Они познакомились. Сигиденко рассказывал Лепинскому о руднике, о всех трудностях, с которыми он встретился здесь. Вспоминая Риддер, где он директорствовал до «III Интернационала», он загорался. Вот там была работа! Среди хозяйственников-цветников существовала поговорка: «Едешь на Риддер с билетом, возвратишься без билета, но ЦК восстановит». Он пробыл на Риддере одиннадцать месяцев. Одиннадцать! — больше всех других. Но так как «III Интернационал» был в развале, его послали сюда. Сюда — все равно как в ссылку. Но что же делать? Он хлопнул рукой по столу и сказал:

— Давайте делать это маленькое месторождение большим.

Затем главным инженером был назначен Банкетов, он сменил на этом посту Вайпулина.

В эти же дни появился на руднике нищий старик. В грязном рваном тулуне с сучковатой палкой в руке, с сумой за плечами, он целыми днями бродил по руднику. Борода у него была всклокоченная, желтая от табака и грязи. Никто не знал, откуда он появился, кто он, где он живет. По утрам его встречали у раскомандировочной. Он стоял у входа, приподняв палку и трясясь от ярости, глухо выкрикивал: «Капут, капут!» Иногда он пел гнусные частушки. Иногда взмахивал палкой и, рассекая воздух, кричал: «Смерть придет, смерть придет!» Рабочие обходили его, некоторые — смеясь, некоторые — со страхом. Парни помоложе останавливались и разглядывали его, отпуская на его счет насмешливые замечания. По вечерам он стучал палкой в окна, и перепуганные женщины часто видели его лицо, прильнувшее к стеклу. Дети убегали, когда он появлялся. Он приходил к котловану на Серном руднике и стоял на краю его, обдуваемый ветром, вскрикивая и взмахивая палкой. Он бродил вокруг бурильных станков на разведочных участках, бормоча: «Капут, капут!».

Всюду, где он появлялся, настроение у людей падало, бурильщики начинали нервничать, шахтеры ехали в шахту с тяжелым сердцем.

Как-то в шахте произошел обвал. Засыпало десятника. Обвал произошел в таком месте, где ожидать его никак нельзя было. Десятника откопали, но рабочие стали поговаривать, что старик накликал беду. А когда в другой раз на конный двор прибежали лесовозы, бросив лошадей в лесу, потому что их испугало что-то большое и серое, мелькавшее за деревьями, это «что-то» выло страшным голосом, после чего упало дерево, которое еще и не начинали рубить, и упало так близко, что ветвями поранило лошадь, — еще упорнее заговорили о старике, возмущаясь, что милиция бездействует и не убирает его с рудника.

Однажды Ванька вошел в свою комнату и увидел, что на его койке кто-то спит. Он удивленно остановился. Экспедитор и счетовод спали на своих койках, на его койке спал кто-то чужой, в углу валялись вещи незнакомца. Ванька подошел к нему и потряс его за руку:

— Послушайте...

Незнакомец открыл глаза.

— Это моя койка, — сказал Ванька. — Откуда вы взялись?

— Я новый геолог, — сказал тот, — моя фамилия Лепинский. В коммунальном отделе сказали, что эта койка предназначена мне.

— А мне что же, убираться? — спросил Ванька.

Лепинский сел на койке и смущенно сказал, что он не знает. В коммунальном отделе сказали, что Коровина переведут в другое место.

— Хороши порядки, — сказал Ванька и вышел.

Он был очень обижен. Хороши порядки! — человека ночью без жилья оставлять. Ушел ночевать к отцу. И хотя через день его вызвали в коммунальный отдел и предложили хорошую комнату, он обиделся и отказался. Вскоре Барабанова сняли с руководства шахтой, но и это было теперь безразлично Ивану.

Глава четвертая

Пожар

Лепинский еще не возвращался после работы. Экспедитор и счетовод сидели на своих койках и ждали Кума-пожарного. Когда он пришел, сели за стол, но игра не клеилась. Не было Ваньки, а втроем нельзя было играть партия на партию, как им особенно нравилось. Идти же за Ванькой было неудобно.

— Так дело у нас не пойдет, — сказал Кум-пожарный. — Нужен четвертый партнер.

В это время вернулся Лепинский, кивнул игрокам и лег на свою койку.

— Слушайте, геолог, — сказал счетовод, — вы как насчет того, чтобы перекинуться в подкидного?

— Не умею, — сказал Лепинский. — В преферанс — всегда готов.

— В преферанс, — сказал Кум-пожарный, — вы скажете еще — в покер.

— Мы в преферанс не умеем, — сказал счетовод.

— Давайте я вас научу.

Лепинский встал и подошел к столу.

— Игра простая, — сказал он, — нужно только понять.

Но партнеры игры не поняли и не оценили. Им больше нравился подкидной, и, в свою очередь, они предложили научить Лепинского. Вечер длинный, пришлось согласиться.

Они играли до поздней ночи, игра увлекла Лепинского. Парни были бесхитростные, да и он сам таким был, и азарт глупой игры завладел им.

Днем Лепинский работал, а вечером играл в подкидного дурака. Он так пристрастился к этой игре, что даже на работе думал с удовольствием о вечере, когда к ним в комнату придет Кум-пожарный и они опять сядут за стол.

На работе у Лепинского были неприятности, и это вечернее удовольствие в какой-то мере скрашивало их. Он приехал на рудник уже давно, но до сих пор геологическое бюро не имело постоянного помещения. Первое время геологи помещались в одной комнате с плановым отделом, но потом их оттуда выселили. Из-за этого тормозились разведки, и маленькое месторождение нельзя было делать большим. У Сигиденко было столько дел, что он еле справлялся с ними, и о перспективах рудника ему не хотелось думать.

Однажды Лепинский зашел поглядеть новый дом для рудоуправления, который только что закончили строить. Он увидел пустое, неоштукатуренное помещение, обрадовался, захватил партизански сразу три комнаты и начал работу. Когда пришли штукатуры, он переселился со своими ребятами в следующие комнаты. Штукатуры продвигались дальше, Лепинский переносил свои столы, чертежи, образцы минералов. Он кочевал по дому, как в полевой

разведке. А когда штукатуры добрались до последней не-оштукатуренной комнаты, геологи перешли в уже оштукатуренные.

Затем в новый дом стало вселяться рудоуправление, и геологов решили выгнать, но тут оказалось, что одна из партий геологоразведки, работавшая возле динамитного склада, обнаружила мощное месторождение руды. Четвертая скважина и ряд шурфов, проведенных там, показали залегание мощностью в двадцать, а по простиранию — в триста пятьдесят метров, с содержанием около восьми процентов металла.

Сигиденко обрадовался, послал победоносную телеграмму в трест, и геологи остались в новом доме.

А Ванька жил с родными. Отец перестал пить, но недовольство его не покидало, он ходил все такой же мрачный, и Ванька не мог понять, на кого он, по сути, злится? С Мысовым отец не встречался, о руднике не говорил.

Жил Ванька плохо. Вечерами, когда Маруся была занята, он изнывал от скуки и с завистью думал о Куме-пожарном, который ходил к ребятам играть в подкидного дурака. И ругал Лепинского, занявшего его место и в комнате, и в карточной игре.

Приближалась зима. В доме Коровиных в Нижнем Тагиле жили квартиранты. К зиме нужно было сделать кое-какой ремонт. Лазарь Александрович пошел просить отпуск. Но Сигиденко в отпуске отказал, обещал отпустить месяца через два, не раньше.

— Но мне нельзя ждать, — сказал Лазарь Александрович, — к зиме нужно домик отремонтировать.

— Хозяйством заняться? — переспросил Сигиденко.

— Да, — сказал Коровин.

Сигиденко усмехнулся.

— А доски на руднике резать не жалко было?

— Так то — другое, — смущенно сказал Коровин.

— Рудничное, я знаю. А домик свой, верно?

Коровин усмехнулся, развел руками.

— Верно, — сказал он.

— Ну вот, слушайте, дядя, — сказал Сигиденко, — я вас снова назначаю заведывать поверхностью. И месяц сроку. Понятно? Похозяйствуйте на руднике, как в своем дворе, а там посмотрим. Идет?

— Ладно, Иван Ильич, — сказал Коровин и протянул руку директору.

С этого дня Лазарь Александрович переменился. Мрачность исчезла, человек молчаливый и скрытный, он начал довольно много болтать, сыпать поговорками. Жене он подарил резиновые ботинки с застёжками.

Как-то отец спросил Ваньку:

— Почему ты с Шатуновым не встречаешься? Это хороший мужик.

Ванька недоверчиво посмотрел на отца и пожал плечами.

Однако когда старик Коровин узнал об открытии геологов, он пришел в ярость. Ни жена, ни Ванька сразу не поняли, что так разъярило отца. Потом выяснилось, что в нем вдруг поднялась обида одураченного человека. Ведь Треуховы заплатили ему пятьдесят рублей, да и Демидовы, в общем, не многим больше. «Лес в пользу владельца» — этот пункт договора теперь особенно возмущал Коровина. «Лес в пользу владельца!» Нужно же было придумать такой пункт!

Дальнейшей разведке новой линзы мешал динамитный склад. Склад был огорожен колючей проволокой. Правила безопасности не позволяли вести работы вблизи динамитного склада, и охрана гнала бурильщиков прочь.

Геологическое бюро потребовало, чтобы склад перенесли в другое место. Но для этого нужно было изыскать средства, а их не было. Обурив северную часть, геологи остановили разведку. Через некоторое время Лепинский решил идти на хитрость и пробурить под склад наклонную скважину. Но тут выяснилось, что разведка преждевременна, ассигнований на проходку новой шахты трест не дает. Тогда Лепинский отправился в трест и попросил денег на производство дальнейших разведочных работ. Чтобы отделаться от него, управляющий выдал ему на «шурф» незначительную сумму. С этими деньгами Лепинский поспешил назад.

Вскоре ему удалось добиться переноса динамитного склада, и все средства, отпущенные на «шурф», он вложил в проходку новой шахты.

Приближалась годовщина Октябрьской революции. Партийная организация стала торопить Лепинского. Хотелось приурочить к октябрьским торжествам открытие новой шахты.

— Пройдем еще полтора метра — будет руда, — объявил Лепинский.

Возле Динамитной аномалии, как стали называть новую шахту, все время толпился народ. После работы каждый считал своим долгом прийти узнать, как идут дела. Ванька, хотя и не любил Лепинского, тоже каждый день приходил к Динамитной аномалии. Иногда он здесь простаивал целую смену. Впервые в жизни он присутствовал при зарождении новой шахты.

Вскоре прошли полтора метра, но руды не оказалось. Лепинский поскреб затылок и приказал идти дальше. Прошли еще три метра — руды нет. Вокруг шахты стояли люди, Ванька стоял вместе со всеми, и ему вдруг стало жаль старшего геолога. Большой рыжеватый человек с серыми насмешливыми глазами покраснел, сгорбился и с трудом произнес:

— Давайте дальше.

Снова застучали кирки в глубине земли, и бадья выдала наверх пустую породу.

На другой день Лепинского вызвали в партийный комитет. На него жаловались рабочие. Он обманул их. Они ждали руду. Но вот уже прошли пять лишних метров, а руды не было.

— Очевидно, мы имеем дело с нарушением горной породы, — растерянно сказал Лепинский, — только этим можно объяснить, что мы до сих пор не встретили руду.

— Напрасно вы пообещали руду, — сказал секретарь парторганизации, — рабочие теперь волнуются.

Секретарь был зол на него. Лепинский развел руками и вышел. Что он мог сказать? Он пообещал руду, потому что она должна была быть. Не из головы он это взял. Руду показывала разведка. Они имеют дело с нарушением горных пород. Руда есть, но... но где она?

Он всю ночь думал о том, где эта руда, с каким нарушением они встретились.

На другой день Лепинский приказал вести новую разработку. Он был уверен, что теперь они натолкнутся на руду. Прошли шесть метров — руды нет.

В рудоуправлении переполошились. Тайком, чтобы не обидеть Лепинского, позвонили в трест и вызвали на рудник главного геолога.

На другой день, встретив у шахты главного геолога, Лепинский удивился, но не обиделся. Он сообщил глав-

ному геологу свои предположения о сбросе, и главный геолог согласился с ним.

Они снова просмотрели все образцы пород, вынутые из шахты, и построили гипотетическую схему нарушения — выходило, что руда сброшена на восемнадцать метров к западу.

Чем больше затруднений встречалось у геологов, чем больше беспокойства внушала новая шахта, тем больше интересовывала Ваньку их работа. Теперь он смотрел на Лепинского с уважением и любопытством. Лепинский начинал ему даже нравиться. Он напоминал Ваньке охотника. Как только кончалась смена, Ванька прибегал к новой шахте. Несколько раз он уже спускался вниз и помогал геологам-разведчикам отгребать породу. Ему потом выписали поденную оплату, но Ванька помогал им не из-за денег. Он стал переживать вместе с геологами разочарования и тревоги. И однажды вечером он пришел к ребятам, с которыми жил раньше, хотя и знал, что в эти дни они не играют в подкидного. Он захотел помириться с Лепинским.

На следующий день повели новую разработку в третьем направлении. И в день Октябрьской годовщины, во время демонстрации, Лепинский вынес на трибуну первый кусок руды и, подняв руку, показал его демонстрантам. Два дня на руднике длились торжества по случаю двух праздников: Октябрьской революции и пуска новой шахты.

Потом наступили будни.

По всему Уралу, по всей стране шла стройка. Крупнейшие заводы росли под самым Тагилом, и на юге — у Свердловска, и на севере — в Красноуральске. Все строительные материалы шли на крупные стройки. Металл, цемент, кирпич, краска, стекло — все забирали Магнитка, Кузнецк, Уралмаш, Красноуральский медеплавильный комбинат. Рудник получал скудное питание. Технический рост его замедлился. До сих пор на руднике не было водопровода.

Рудник развивался, воды требовалось все больше, имеющиеся источники не могли обеспечить всей потребности. В связи с постройкой нового металлургического завода в Нижнем Тагиле проектирующие организации

предложили руднику набраться терпения и подождать, пока начнут строить мощный тагильский водопровод. Но рудник ждать больше не мог. Геологическое строение местности было таково, что колодцы не обеспечивали воду. В районе Сан-Донато преобладали сланцевые породы, имеющие крутое, почти вертикальное падение, и вода уходила в глубину земной толщи. К зиме Ольховка обмелела настолько, что приходилось воду черпать из нее кружками. Тогда Банкетов предложил строить водопровод своими силами. Строить решили субботниками по примеру горловских горняков.

Проектанты тагильского водопровода заявили, что у рудника ничего не выйдет. «Вы строите без проекта? Силами субботников?» Инженеры смеялись. И Банкетов испытывал смущение от этого смеха. Ему, как инженеру, было понятно, что это мероприятие кустарно и смешно. Но что можно было сделать? Банкетов уже тогда знал, что и в дальнейшем им неоднократно придется прибегать к кустарным и смешным мероприятиям. Он знал, что Сан-Донато будет вынуждено обходиться только своими силами. Рассчитывать на получение со стороны необходимых руднику материалов было невозможно.

Рудоуправление обратилось к рабочим, в шахтах провели собрания, и во главе с партийной организацией весь коллектив рудника подхватил это дело.

Каждый цех получал свой участок, и в первый же выходной день все вышли на работу. Рыли канавы, подтаскивали трубы, били шурфы, ручным насосом откачивали воду, делали срубы для насосной станции.

Ванька был назначен бригадиром, и в бригаде его значились Мысов, Илюшка Чихлыстов и отец. И никто из них не обижался на него, когда он командовал: рыть там, брать трубы оттуда.

Прибыл вагон с минеральными водами. Весь груз перегрузили на телеги, и этот обоз ездил вдоль канав, и все желающие могли напиться. На площадке возле рудоуправления играл оркестр.

Когда магистраль была закончена, насос установлен, приступили к опробованию. Качали день, другой, третий — воды не было. Вода исчезла, как руда в Динамитной аномалии. Как всегда в таких случаях, заговорили о том, что водопровод проведен неправильно, зря затратили столько сил, воды не будет.

Ванька не знал, кто первый заговорил об этом, но эти же самые слова он услышал от Мысова и впервые в жизни прямо и резко сказал ему:

— Знаете что, товарищ Мысов, вы бы лучше покрепче держали язык за зубами.

Мысов внимательно посмотрел на Ваньку, усмехнулся, покачал головой и отошел, не сказав ни слова.

В насосной будке прорубили стенку, втащили более мощный насос и начали запускать его с помощью трактора. В помещении было тесно, мотор невероятно дымил, и вскоре начальника отдела капитального строительства и механика пришлось вытаскивать за ноги — они угорели. В будку полезли Банкетов и Иван Коровин.

В три часа ночи наконец забулькала вода. Поддерживая друг друга, главный инженер и отгребщик поплелись домой спать. Утром сан-донатский водопровод вступил в действие.

Закончив водопровод, приступили к строительству кирпичного завода. Кирпич необходим был руднику почти так же, как и вода. Все основные здания и цехи нужно было класть из кирпича.

Вблизи рудника имелись разрезы, откуда брали глину. Глина была подходящая для кирпича, и Банкетов предложил там же, в разрезе, построить маленький кирпичный завод. Получалась двойная выгода. Завод можно было построить во впадине, образовавшейся вследствие выемки глины, нужно было только укрепить выработку столбами да с внешней стороны поставить стену, а глину для кирпича брать прямо из стен, проходя штреками, как в шахте.

Работы вел старик Коровин. Расставив рабочих, он указал им разрез, который нужно было немного углубить. Один из рабочих поднял кирку и с размаху ударил по глине. Послышался глухой звук, и кирка ушла в пустоту. Глина осыпалась, образовалась темная дыра. Вокруг рабочего, открывшего неожиданное отверстие, столпились люди, Коровин взял лампочку и просунул внутрь. Свет ее потерялся в темноте.

— Готовое помещение, — сказал кто-то.

Проход расширили, вошли внутрь. В глубине, у дальней стены стояли деревянный ящик и грубо сколоченная из досок койка. На койке валялся рваный матрас, а в углу на стене висело что-то темное. Когда подошли бли-

же и поднесли свет, все присутствующие увидели полустлевший труп. В нем с трудом узнали нищего старика, который вдруг бесследно пропал с рудника.

Сигиденко и Банкетов пришли в раскомандировочную и, самолично отобрав несколько отгребщиков и подручных забойщиков, спустились с ними в шахту. Среди отобранных отгребщиков был и Ванька Коровин.

В шахте Сигиденко приказал выдать новичкам все имеющиеся «Телескопы». Трое отказались работать. Угрюмо опустив головы, они сказали, что на этих машинах работать не умеют и не хотят брать на себя ответственность. А другие согласились. Согласился и Ванька.

Сухаков проинструктировал каждого нового забойщика, и вот в пяти забоях зарычали мощные перфораторы.

А через несколько дней, ночью, на шахте вспыхнул пожар.

Ванька работал во второй смене. К одиннадцати часам вечера он остановил перфоратор, отключил шланг воздухопроводки и полез на-гора.

Когда он уже вышел из бани, над рудником завыл тревожный гудок. В дверях Ванька столкнулся с Банкетовым и от него узнал, что в шахте пожар.

Пожар начался на Ванькином участке. Первой заметила огонь кладовщица Маруся. Яркое пламя лизало стойки крепления, едкий дым полз по штреку. Током воздуха огонь быстро перебрасывало с крепи на крепь. Загорелись доски для настила, лопнула где-то воздухопроводная труба, и оглушительный свист воздуха заполнил всю шахту. Маруся бросилась к телефону, подняла с постели Сухакова, тот позвонил сейчас же главному инженеру, и ко входу в клеть они прибежали одновременно.

Ванька вместе с ними спустился вниз. Внизу уже работала спасательная команда. Поджог был явным. Сухаков шагнул к Ваньке и грубо схватил его за грудь:

— Кто поджег? — заорал он.

— Подожди Петр Павлович, — сказал Банкетов, — позже найдем виновного.

И бросился в штрек, наполненный белым дымом.

К утру пожар ликвидировали и закрепили аварийный участок. Огонь не успел захватить руду, и днем шахта работала нормально.

Ивана Коровина арестовали.

Кроме него, подозревать было некого. Огонь возник на его участке, и вскоре после того, как он кончил работу. Ужасное событие ошеломило его. Иван не мог ни о чем думать. Целыми днями сидел на койке в камере и твердил про себя: «Я не виноват... я не мог поджечь шахту».

Иван еще долго сидел в камере, пока длилось следствие. На допросе встречался с отцом. Они сидели перед следователем молча, отец и сын, как далекие друг другу, чужие люди.

Потом был суд, и на суде выяснилось, что шахту поджег бывший уголовник Мысов. Ивана оправдали...

Когда Иван вышел на волю, все в поселке было окрашено в желтый цвет. Окна, двери, крыши домов, полы в квартирах, столы в столовой — все было окрашено в желтый цвет. Краска была яркая, прочная и придавала всему поселку складный и крепкий вид, словно он был отстроен на долгие-долгие годы. На окраине поселка дымил теперь маленький кустарный завод. Там гнали из остатков охристых железняков эту краску.

Долгое время после суда к Ивану Коровину относились на руднике настороженно и подозрительно.

Он работал теперь на мощном «Телескопе» и давал наибольшее на руднике количество руды. Но это не меняло к нему отношения товарищей.

Однажды рано утром на шахте произошло отравление рабочих. Восемь человек во главе с начальником участка Шатуновым были вытащены на-гора. В шахте появилась окись углерода. Уже давно руководство рудника знало о том, что при системе обрушения без закладки в верхних слоях остается лес. Это было опасно, но все внимание было направлено на форсирование добычи, и мер безопасности не принималось. И когда отработали первый этаж и спустились ниже, пустое пространство, полузаваленное лесом, обнажилось, воздух рипулся снизу вверх, нагреваясь от трения, кислотные воды при соприкосновении с ним еще выше поднимали температуру, и произошло самовозгорание.

Самовозгорание произошло где-то в глубине, но окись углерода наполнила штреки, и люди попадали без сознания.

Как только был обнаружен газ, на шахту явились горноспасатели и спасли рабочих. Работы прекратили. Теперь нужно было думать о спасении шахты. Прежде всего нужно было произвести заилровку, то есть пробурить ряд скважин и нагнетать в них известковое молоко. Жидкость проникла бы в трещины земли, охлаждая температуру в пожарном участке и преграждая огню путь. Скважины должен был бурить Лепинский. Сегодня было отдано распоряжение, завтра должны были быть поставлены три станка и к вечеру начато бурение.

— Дайте мне рабочих, — попросил геолог, — своими силами мне не обеспечить заилровку.

Но рабочих ему дать не могли, все были заняты в шахте. Там делали перемычки, вели боковой ходок, в обход пожару, заливали пожарный участок водой.

Тогда Иван Коровин организовал рабочую бригаду, и люди, отработав свою смену в шахте, шли к геологам бурить скважины для заилровки.

Внизу приходилось работать при температуре пятьдесят — пятьдесят пять градусов. Многие с трудом переносили эту жару. Иван Коровин держался впереди всех, вел за собой бригаду. Ближе к очагу температура становилась все выше, доходя до семидесяти градусов. Люди работали голыми, едкий пот покрывал их тела. Час работы в таких условиях доводил до изнурения. Ванька и после такой работы поднимался на-гора и работал с бурильщиками Лепинского.

Он работал за двоих, за троих. Он решил доказать своей работой преданность руднику, рассеять все те подозрения, которые внушала многим его связь с компанией Мысова.

Но газ продолжал выделяться. Он шел со струей воздуха. Это помогало вести работы, так как можно было вентилировать шахту, но это же означало, что процесс не локализован, горение продолжается.

Отец лежал больной. Каждый день приходил доктор и, выслушав отца, качал большой лысой головой и безжалостно мял свое правое ухо.

— Тут медицина бессильна, — говорил он, надевая шубу и ища калоши ногой.

И однажды, после ухода доктора, Иван пошел к горноспасателям и предложил идти искать место, откуда проникает газ. Если бы удалось обнаружить и герме-

тически закрыть его, горение бы прекратилось. С ним пошли инструктор команды и боец.

Свет в газовом участке не горел. Они освещали себе дорогу аккумуляторными лампами. Идти было жарко. Респираторы тащить было тяжело. Иногда Ванька останавливался и зажигал спичку. Временами она горела, иногда гасла мгновенно — шел газ. Через некоторое время они обнаружили довольно широкую щель. Ванька просунул руку, но не достал дна щели. Зажег спичку у верхнего конца. Спичка горела. Поднес вниз, огонек мгновенно погас. Через эту щель и проникали газ и воздух. Они внимательно осмотрели расположение щели и пошли назад. По дороге инструктор споткнулся о доску, падая, увлек за собой бойца. Мундштуки от кислородных баллонов при падении выпали, горноспасатели вдохнули газа и остались на земле. Иван бросился к ним, потряс — они лежали без памяти. Ванька сунул каждому в рот мундштук, как соску, поднял бойца и потащил его к выходу, вынес его в штрек и пошел за инструктором. Еле дотащил его и свалился сам. Отдышавшись, понял, что в баллоне иссяк кислород. Он поднялся, удивленно посмеиваясь: как ему удалось выбраться обратно. Горноспасатели приходили в сознание. Их тошнило. На помощь Ваньке бежали люди. Ванька объяснил, в чем дело, и полез на-гора.

Когда он поднялся на-гора, ламповщица сказала ему, что Лазарь Александрович при смерти. Не переодеваясь, Иван побежал домой.

В маленьком свежесрубленном доме умирал старик. Кровать его стояла у окна, и в запорошенное снегом стекло были видны голые стволы сосен и тяжелые кроны их, засыпанные снегом. Дальше за деревьями поднимался железный копер шахты с вертящимся колесом.

Иван на цыпочках подошел к постели отца и наклонился над ним.

— Ну, как, отец? — спросил он.

Отец шевельнул рукой, и губы его что-то зашептали. Иван пододвинулся ближе.

— Жаль, — услышал он шепот старика, — хотел бы я видеть, что дальше будет...

Старик вскинул сухую лиловатую руку, захрипел и умер.

Отец не узнал, что будет дальше. Жизнь его кончилась.

Жизнь сына только начиналась.

Мед и деготь

Не знаю, как теперь поезда из Ленинграда ходят в Приозерск, может, их перевели на электрическую тягу, но тогда я здорово влопался, забравшись на дачу к черту на рога. Впрочем, дело даже не в этом. Все дело в том, с какой противной неожиданностью я вдруг почувствовал, что много, в сущности, не понимаю и веду себя с наивностью ребенка.

Как вы, наверно, успели заметить, я человек немолодой. Ну, брюшко и лысина — это еще так-сяк. Главное — возраст довольно солидный и служебное положение: я — заместитель главного инженера Тюбо-Каштырской гидроэлектростанции, наверно, слышали про такую?

Рассказать же я хочу поучительную историю о наказанной добродетели или о гении и злодействе, как вам будет удобнее. А может, это просто смешная история, психологический этюд, и мне она кажется не только смешной, но и трагической потому, что я — натура впечатлительная и лицо, так сказать, пострадавшее. Одним словом, это история о меде... Ну, а раз о меде, то, значит, и о дегте, не так ли? В общем, бочка меда и ложка дегтя. Или, наоборот, смотря по тому, как вам будет удобнее.

Не стоит вдаваться в подробности и рассказывать, что такое Тюбе-Каштырская гидроэлектростанция с технической точки зрения. Замечу только, что это объект красоты необыкновенной, — это я заявляю вам как специалист. А мне как-никак уже за пятьдесят, и за последнюю треть века не одну замечательную стройку я начинал с нулевой отметки.

В то время, о котором пойдет рассказ, я был старшим прорабом по бетону. Ну, а бетон на Тюбе-Каштырской ГЭС был исключительный.

Сейчас у нас строительство приближается к концу, и вместо бетона, как заместитель главного инженера, я по уши погряз в вопросах труда и зарплаты. И финансы на мне, и планирование, и общие вопросы. А в те времена мы только сделали всю землю и подходила пора лезть в воду. И тут вдруг знакомые напевы, главного инженера проекта, а с ним и весь его синклит требуют к начальству в Ленинград. Наш Семен Борисович, однако, к опрометчивым решениям отродясь не имел склонности, и приткось, как все здравомыслящие люди, справедливо полагал полезной только при ловле блох. Поэтому, естественно, он меня направил в Ленинград. Задача ясная: принять на свою могучую грудь первый удар критических песнопений, а там, по мере надобности, подкатят за пять тысяч километров и главное наши силы.

Тут самое время вам сказать, что к Ленинграду у меня с молодых лет отношение особенное. Не люблю высокопарных слов, но родился я в Козлове, ныне он зовется Мичуринском, а учился в Ленинграде, и все ленинградское для меня, просто скажем, — дорого до святости.

Если бы вы спросили, а что больше всего мне нравится в Ленинграде, пожалуй, я не смог бы определить. День-деньской готов кружить по ленинградским улицам, по самым величественным и самым захудалым. Мне нравится самый воздух Ленинграда. Или, скажем, его окраска. В его ансамблях и перспективах всегда есть что-то таинственное. Вспомните Инженерный замок, например, или арку Новой Голландии. Достоевский его назвал самым умышленным городом во всем мире. Очень верная мысль. Где-нибудь в незнакомом углу попадется тебе вдруг дом из красного кирпича, эдакий, черт бы его взял, особенный питерский кирпичный дом. Стоишь и смотришь: что за удивительный неповторимый цвет у кирпичной кладки! Наверно, бесподобный цвет кирпича есть результат атмосферных условий, свойственных только Ленинграду. Но тебе это все равно. Ты смотришь и любишься. Цвет бычьей крови, как древняя японская глазурь, так, что ли? Может, видели такую в музее? А просторы Невы! Вид, открывающийся с Дворцовой набережной! Слушайте, Кутузов уезжал отсюда в Действующую армию принимать командование, и, ей-богу, тут ты и начинаешь соображать, что человек, живущий перед таким простором, таким величием, не побоюсь громких

слов, не мог не выйти победителем в Великой Отечественной войне.

Однако все это присказка, сказка будет впереди.

Приехал я в Ленинград и не могу понять, что за странная пустота вокруг меня? Вроде бы те же лица в нашем Проектэнерго, те же кабинеты, и рады мне, как прежде, — не так уж часто видимся, — а отделаться от ощущения, что в этот мой приезд все окружающие только и стараются, что обойти меня сторонкой, не могу. Мистика какая-то, ей-богу! Может, только один их деятель, некто Флегонтов, Павел Тимофеевич, старший инженер технологического сектора не отводит глаз, напротив, все поглядывает пристально, многозначительно, точно что-то хочет сказать, да не решается.

Постепенно начинаю понимать, что не то в проектном институте, не то где-то повыше, возникла очередная волна сомнений, колебаний и Генеральный план Тюбе-Каштырской гидроэлектростанции горит жарким пламенем. Конечно, лишний раз обдумать все не мешает, — семь раз отмерь, раз отрежь, но нельзя же до бесчувствия!..

Одним словом, положение у меня — хуже некуда.

Наши не едут, поскольку полная неясность, чего хочет начальство. Между тем пить и есть человеку надо, и как бы ты ни любил Ленинград, когда дела у тебя неважные и ты и не можешь выяснить, где жмет и что не пускает, когда ты окончательно прожился со своими командировочными, тебя не радуют и прогулки по Ленинграду. Из «Европейской» меня уже выставили — понаехало иностранцев видимо-невидимо, не то у них туристский сезон, не то — пушной аукцион; слава богу, втиснулся в «Гермес», ныне гостиница «Балтийская», погода превосходная, начинаются белые ночи, а мне Ленинград не в Ленинград, то ли писать доклад Семену Борисовичу, расписываться в своей беспомощности, то ли слезницу в Проектэнерго, то ли подавать сигнал бедствия в министерство.

Выхожу я в общем как-то из проектного института, опять как вчера, как позавчера, не зная, на каком я свете, рабочий день кончается, раздумываю, где бы пообедать, смотрю, а за мной следом — Павел Тимофеевич. Я был знаком с ним не первый год, но больше шапочно.

— Вы куда, обедать? — подсыпается он ко мне. — И я с вами. Жена, знаете ли, на даче, позволю себе малень-

кое разнообразие. — И дальше: — Мы с вами почти незнакомы, но ваш проект я знаю от корки до корки и, хотите верьте, хотите нет, вижу, как вы бьетесь и просто душа болит. А проект ваш замечательный, великолепный...

Сочувствие вещь сокрушительная, когда человеку худо. Берет меня Флегонтов под руку и давай петь дифирамбы нашему проекту, распинаться во славу большого бетона. И такой у нас выбор бетона остроумный, и такая изящная вся методика его применения. В общем, ура и да здравствует тюбе-каштырский большой бетон! И враз кладет меня на обе лопатки. Однако хоть я и развесил уши, чувствую, чего-то он не договаривает.

Приходим на Садовую в ресторан «Северный». Официант принимает заказ, а он, оказывается, ничего, кроме боржома, не пьет. Не то у него желудок, не то почки больные. Но ведь мы знаем, больные они, не больные, а раз ты пришел в ресторан, без того чтобы полтораста грамм не опрокинуть — такого не бывает. Не пьет мой Флегонтов, и все тут! Однако то да се, начинаются у нас разговоры. О чем бы, вы думали? О деле? Нет, оглянувшись он по сторонам раз-другой и все больше начинает упираться, что, дескать, дача у него отличная, пасека замечательная. Само по себе — ничего странного. Увлечение как увлечение. От Ленинграда, правда, далековато, девяносто семь километров, но у него «Победа», купил по дешевке, еще когда списывали старые государственные машины, — теперь бы он к машине и не подступился, такие на них цены. Аккуратненько содержит свой тарантас, и все у него в этом отношении — о'кей.

И вдруг предлагает мне поехать к нему в воскресенье на дачу. С чего бы такое лестное внимание?

Я говорю: что толковать о даче, расскажите лучше, как в институте относятся к нашему проекту? Этот вопрос меня больше волнует.

Вижу, он мнетя, жметя, оглядывается, не слышит ли кто, однако начинает говорить. Дело в том, видите ли, что в Проектэнерго снова стали судить да рядить, а не лучше ли створ плотины перенести южнее, как предполагалось в каком-то первоначальном варианте, да не нужно ли провести дополнительные изыскания в области скальных оснований, да верны ли проектные наметки, касающиеся бетонов. Я даже не злюсь, слушая его. Все

рассчитано правильно, подобраны самые что ни на есть оптимальные варианты. Удивляет меня одно: о чем эти черти раньше думали? А они, как это иной раз бывает, раньше-то и не думали.

Короче говоря, гляжу я на нашего Павла Тимофеевича повнимательней, — господи, до чего он плохо выглядит, лицо — желтое, жеваное, глаза измученные, как у старого язвенника или еще у кого, может, в самом деле ему пить никак нельзя?

А он продолжает между тем настаивать на воскресной поездке: «Вы поймите, говорит, хочу кое-что вам рассказать, поверьте, очень-очень для вас важное. Здесь в ресторане обстановка не подходящая, а там никто не помешает. Дети сейчас у бабушки, у них еще занятия в школе не кончились, покой на даче, тишина. Посидим часок-другой, потому что у вас обязательно будут вопросы, съездим на рыбалку для успокоения души. Места у нас замечательные, настоящая дикая Карелия, заброшенный старый хутор на берегу озера, красота неопишемая», — все давит он и давит, не дает и слова вымолвить. У него там и лодка есть с подвесным мотором, арендует ее так же, как дачу, и вся снасть. У вас как, на воскресенье ничего экстраординарного не запланировано?

Честно говоря, я бы наверняка отказался — что за странное секретничанье и таинственные намеки? И даже то обстоятельно, что я никогда не бывал на Карельском перешейке, меня бы не соблазнило. Бог с ней, с Карелией, с ее валунами и озерами, мало ли мест на земле, которых я не видал и которых никогда увидеть не придется. Но Флегонтов резанул меня, что называется, по живому месту, заинтриговал, как в театре, и я решил поехать, чтобы разом покончить с тайнами и туманами.

Часов в десять утра в воскресенье Флегонтов заехал за мной в «Балтийскую», но в дальний путь мы тронулись не сразу. Оказалось, что сперва нужно разыскать, видите ли, и захватить с собой одного человечка, собирающегося купить у Флегонтовых на даче две семьи пчел.

— Пчелами занимается, собственно, жена. Ну, а доставить покупателя — это уж мне поручено, — как бы извиняясь, объясняет Флегонтов.

Около часа мы разыскивали пчелиного покупателя, потому что адрес был неточный. Наконец видим, стоит в подворотне плосколицый старикан с тощей монгольской

бородежкой и улыбкой то ли умильной, то ли блаженной, и с ним два фанерных ящика. Похож старикан на каменного идола, и, как ни странно, этому сходству несколько не мешает, что на его сладкой физиономии румянятся в то же время наливные стариковские щечки. Как, проходя, выясняется, Христофор Анастасьевич Стырц, недавно, выйдя на пенсию, окончил пчеловодческие курсы и теперь собирается разводить пчел.

Без лишних слов он втиснул в машину ящики и уселся рядом с ними на заднем сиденье.

И вот остались позади городские дома, машина вырвалась на оперативный простор, и Флегонтов повел ее с приличной скоростью.

Отброшены огорчения последних дней, отступают все тяжкие ожидания. Мы мчимся по сказочной зеленой стране — в майскую зелень вкраплены бирюзовые озера. Они возникают то справа, то слева и, посверкав секунду-другую, точно проваливаются сквозь землю, как и полагается озерам в сказочной стране. Раза два или три попадаетеся нам Вуокса, и каждый раз это явление природы предстает перед нами в разных видах: то в виде реки, бурной и могучей, то в виде тихого и скромного водоема, то в виде озера, раскинувшегося на добрый десяток километров, — я потом посмотрел в энциклопедии, там сказано, что большая часть течения реки Вуоксы приходится на озера.

Старикан-покупатель дремлет себе на заднем сиденье, точно его и нет в машине, поскрипывают рядом с ним пчелиные ящики, мы с Флегонтовым ведем неторопливый разговор о дороге, об окружающей местности.

Вот проехали старую границу. До сих пор различимы бетонное крошево взорванных дотов, обвалившиеся, заросшие окопы. Места пустынные, угрюмые, исчезли даже озера. А затем начался лес. Описывать его не берусь, но, поверьте мне, это был лес из Калевалы, по меньшей мере. Всюду, куда ни глянешь, среди густых деревьев, полным-полно замшелых, точно покрытых шерстью валунов, — дорога петляет между ними то вправо, то влево, — как тут только деревья растут, — кругом камень и камень. Флегонтов ведет машину, почти не снижая скорости, и оторопь берет: как он не изуродует колпаки колес?!

Не знаю, сколько проходит времени — пятнадцать, двадцать или сорок минут — лесная дорога вдруг светлеет,

и мы вылетаем на открытое поостранство. Ну и красотища перед нами, я вам доложу! По правде говоря, из-за одного этого стоило сюда поехать. Поляна, залитая солнцем; невиданной свежести, ярчайшая весенняя трава; впереди — почерневшие от дождей и ветров черные крыши разбросанных по опушке старых домов: с трех сторон — темно-синяя стена леса; прямо перед нами, метрах в трехстах — точно на ладони, окаймленное синими елями тихое озеро, и вода в этом озере, дай бог не соврать, — не голубая и не зеленая, а бронзовая.

И вокруг все те же замшелые, пестрые валуны, точно покрытые шерстью мохнатые звери.

Я думал, мы приедем, хозяйка угостит нас обедом, ну, если не обедом, то хорошим завтраком, затем мы сядем с Флегонтовым, никто нам не будет мешать, и он откроет мне свои секреты. Как бы не так! Едой в доме не пахнет, жена Флегонтова, Елена Ивановна, ходит в синих лыжных штанах, заправленных в высокие резиновые боты, на плечах — медицинский халат, на голове круглая шапка с черной сеткой от пчел; сейчас она откинута назад и видно, что все ее лицо вымазано синькой. Синька, видите ли, снижает боль от пчелиных укусов. Руки у нее измазаны в воске и в синьке, отчего они кажутся черными, их Елена Ивановна держит растопыривши, точно борец, сходящий с цирковой арены.

— Видите, для жены пчелы — это все, — на ходу успевает сообщить мне Флегонтов и тут же бросается обсуждать с ней неотложные пчелиные проблемы.

Торчит здесь и Стырц, прислушиваясь и млея от музыки технических терминов. Затем Флегонтов кидается стругать колья, чтобы поставить новый улей. Старику Стырцу он сунул в руки клещи и молоток, потому что ему не понравилось, как расположены рамки в его ящиках, и нужно было все переделать. Жена Флегонтова принялась разводить дымарь. Про меня они попросту забыли.

Я прошелся по дому — огромный, некрасивый, сараеобразный дом в два этажа. Внизу — обширная комната с большущей печью посредине. Наверху — клетушки-спальни. Здесь еще сохранилась старая мебель — цеуклюжие деревянные скамьи, которым скорее место в саду, а не в жилой комнате; деревянные кровати, больше похожие на ящики. На стенах висят грязные спецовки и

давно не стиранные халаты. Всюду валяется пчеловодческий инвентарь — инструменты, отрезки искусственной вощины, гнилушки для дымара — буквально сесть не на что, даром что здесь скамьи-исполины. В помещении нестерпимо душно, все окна, все форточки закрыты наглухо, чтобы не залетали пчелы. Ей-богу, просто дышать нечем.

Пройдясь по дому раз-другой, я вышел во двор.

День прелестный, солнечный, его словно только что промыли в проточной воде. Я обошел вокруг дома и сел было на скамейку возле забитого парадного крыльца, но посидеть на ней удалось мне не долго. Облаченный в белый и такой захватанный балахон, что его скорее следовало бы назвать пятнистым, с кольями и новым голубым ульем, Флегонтов быстро прошагал мимо меня на пасеку; жена несла за ним дымарь, и дым тянулся за супружеской парой, как за автомобилем, у которого карбюратор отрегулирован на слишком богатую смесь. Тотчас растревоженные пчелы стремительно и бестолково, как шальные пули, залетали по всему участку. Через минуту, хотя я сидел далеко от пасеки, одна пчела приложилась к моему виску; не успел я смахнуть ее, как другая ужалила меня в руку, третья — в щеку. Я вскочил «как ужаленный» и, размахивая руками над головой, ринулся в дом. Вокруг меня, пока я бежал, уже целое пчелиное облако кружилось со злобной яростью.

На полу большой комнаты Стырц ладил плечинные ящики. Он посмотрел на меня своими сладкими и дремучими глазками и сказал, то ли в утешение, то ли в назидание:

— Никак, покусали? Это ничего. От пчелиного укуса не вред здоровью, а польза.

Эти притчи я уже слышал в отрывках, пока сюда ехал: пасека — дело благородное. Пчеловодство — это чистый воздух, целебный мед. Статистика свидетельствует: пчеловоды по долголетию впереди всех. По пчелам можно предсказывать засуху — в обычный год пчелы-работницы уничтожают трутней под осень; в предчувствии засухи они выгоняют их еще весной.

Я только чертыхнулся в ответ, растирая ужаленные места, — они горели, чесались и уже начинали припухать.

Принимаясь снова за ящики, Стырц сказал поучительно:

— Пчела жалит одних грешников. Праведника она так только щекотит. — И он коротко задребезжал серебристо-кхекающим смехом.

— Будем считать, меня только пощекотали, — огрызнулся я.

— Нет, вы не шутите. Думаете, пчеловодство пустяки, баловство одно? Дескать, стар стал мужик водку пить да за девками бегать, вот и пчелы? Нет, оно занятие душевное, по склонности ума. Знаете поговорку? С медом и долото проглотишь. Взять, к примеру, мою личность. Жизнь у меня сложилась красиво, я всем довольный. Будучи в юности, имелся у меня туберкулез. Когда я совсем плох стал, отправили в больницу, а там я как бы заново родился. Остался при больнице санитаром, должность, может, и невидная, но людям полезная да и в личном отношении не пустая... Теперь у меня здоровья — дай каждому, — он поднатужился и оторвал планку, неправильно прибитую внутри ящика. — Тот, который враз не помер, болеющий туберкулезом, живет потом долго, пока не надоест. По туберкулезной надобности человек ой как ухаживает за своим здоровьем! Такой двужильный становишься — ни в какую хворь не вгонишь... А в туберкулезной больнице, между прочим, я всякого насмотрелся... — Теперь он кряхтел, ерзая по полу и прилаживая как надо оторванную планку. — Вообще говоря, в моей жизни много было красивого. Ты — людям, люди — тебе. Теперь я свое отработал, полное право имею на отдых, как говорится. Ранехонько проснешься, бывает, зима, скажем, посмотришь в окошко, а на белом снеге — черным-черно! Бегут люди горемычные ишачить, ножками семянят, темно еще на дворе, неприятно, а они топают, сердешные. Друг друга обгоняют. К метро бегут! А мне уже ни перед кем гнуться не приходится, — с удовлетворением закончил он и принялся прибивать планку мелкими гвоздиками.

И блаженная улыбка все шире расплзается по его плоскому лицу: дорвался до цели!

— С исполнением желаний вас! — говорю я, разглядывая идольскую рожу старика. — А где вы собираетесь разводить пчел?

— У меня комната — дай каждому. Семнадцать метров с балконом. На балконе два улья встанут в самый раз. — Представляете неподдельную радость соседей по дому? —

Пчелы — дело прибыльное и полезное для здоровья. От пчелиного укуса даже возрастает мужская сила, — продолжает проповедовать Христофор Анастасьевич, держа в зубах мелкие гвоздики.

С дымарем в руке стремительно входит Флегонтов.

— Ну что, готово у вас? — на ходу спрашивает он старика. — Тогда пошли. — Меня, приглашенного в гости, он не замечает. Аи нет, заметил: — А вы почему сидите в духоте? А-а, пчел испугался! — тут же догадался он и захохотал, точно в этом действительно было что-то смешное.

Задом наперед, очевидно для удобства, напялил он на Стырца грязный белый балахон, кое-как завязал на нем тесемки и, прихватив ящик, увел с собой на пасеку.

Я остался в комнате и долго смотрел через плотно закрытое окно, как они втроем в глухих накомарниках и балахонах бродят среди ульев в клубах синеватого дыма, точно привидения, занятые каким-то странным делом. Каждый то и дело нелепо поддегивался, хлопал себя то по шее, то по щеке, то рукой об руку, в особенности старик. Видно, и он был в жизни не таким уж праведником.

Вот они остановились возле зеленого улья, и Флегонтов раскрыл его. Вижу, достает он из улья рамки с медом, черные от облепивших их пчел, словно вскрыл банку зернистой икры. Одна, другая, третья рамка... Даже мне, непосвященному, понятно — выбирают семью. Но почему-то, перенеся рамки в ящик старика, они все не отходят от улья, все о чем-то спорят, что-то ищут то в улье, то на земле. Старик Стырец дергается все чаще и, как мне кажется, временами даже подпрыгивает, как бы повисая в воздухе по диагонали — пчелы, значит, кусают его все сильнее, распознав, очевидно, что он за фрукт. Но вот, вижу, Флегонтов, оставив среди ульев и Стырца, и жену, покидает пасеку и через две минуты, разгоряченный и взволнованный, входит в дом.

— А-а, вы здесь? — удивляется Флегонтов, точно не он, а кто-то посторонний пригласил меня сюда в гости. И опять за свое: — Почему не пойдете погулять? День, смотрите, какой чудесный!

— Пробовал, — отвечаю я без обиняков. — Тут у вас носа не высунешь.

— А вы пройдите к озеру. Чудесная прогулка. Понимаете, матку в улье не можем найти, жена волнуется.

Он попросил подать ему скобель, лежавший на подоконнике, я неловко потянулся и сморщился от боли, у меня давно так не болела рука, как в тот приезд в Ленинград.

— Фью-ю! — присвистнул Флегонтов. — Пойдите, да у вас всю кисть скрючило! Что у вас с рукой? Полиартрит? Точно. Что же вы молчите? Я сейчас жену позову. Никакие курорты, никакие врачи не помогут, как наши пчелки! Лена! Лена!

И, схватив скобель, он опять умчался на пасеку.

Что же это такое, в самом деле? Что рука у меня болит, он заметил сразу, потому что пчелиными укусами лечат больные суставы, а о деловом разговоре, ради которого я приехал, — ни гугу? А рыбалка? А поездка по озеру на моторной лодке? Едой в доме и не пахнет; я не обжора, но мне уже есть хочется, аппетит, как известно, разыгрывается на свежем воздухе. И лечить свой полиартрит я здесь не собираюсь. Не верю я в народные средства. Кажется, мне начинает надоедать пустое дачное времяпровождение.

Делать, однако, нечего. Не дожидаясь жены Флегонтова с ее медицинскими познаниями, я быстрым шагом, почти галопом пересекаю двор, чтобы избежать налета «вражеской авиации», и выхожу на тропинку к озеру.

Тропинка к озеру превосходна. Озеро превосходно. Превосходны натыканные всюду замшелые, пятнистые валуны. Их великое множество, и они так походят на притаившихся зверей, что вся местность вокруг кажется заселенной живыми существами. Я был здесь один, но из-за этих мохнатых валунов меня не оставляло чувство, что за каждым моим шагом следят сотни звериных глаз.

Озеро было совсем недалеко от дома. Оно лежало черное, затемненное окружающим лесом, а посмотришь в воду — озеро прозрачно до самой глубины и отливает горячим бронзовым цветом, точно в нем золото растворено. Отчего в лесных озерах такая прозрачная, бронзовая вода?

Я, конечно, не писатель и не поэт, хотя и не прочь бы попробовать в этой области свои силы, но умолчать о красоте тех мест просто не считаю себя вправе. Звенят над озером прошлогодние камыши, сухие и желтые до безумия, честное слово. Пахнет хвоей остро и терпко. Молодая трава пробивается из-под слежавшихся прошлогодних листьев. Доцветают вдоль тропинки белые и голу-

бые, то ли подснежники, то ли фиалки — сорвешь цветок, лепестки тотчас осыпаются. Поют незнакомые птички среди деревьев. А я иду и думаю, что это за люди такие, с которыми меня свела судьба? Стырц, это тип кристаллически ясный, о нем думать нет оснований. А Флегонтов — он что такое?

Иду и уже отчетливо понимаю, что рыбалки мне не видать, серьезного, спокойного разговора с Флегонтовым не дожждаться, будет все время вертеться перед глазами и вступать в разговор старикан Стырц, ни поесть тут хорошо не дадут, ни выспаться. На кой черт он звал меня сюда? И уже мне кажется, что даже если и вырвется двадцать минут для разговора с Флегонтовым, то все равно ничего дельного я от него не услышу. Уже и прелесть природы мне ни к чему. И птичьи голоса ни к чему. И подснежники. Да и уходить далеко от дома боюсь — еще заблудишься, тебя даже искать не станут.

Издали вижу, чуть ли не бегом Флегонтов возвращается в дом. За ним семенит Стырц в своем балахоне, надежном задом наперед, с нетвердым, то ли от старости, то ли от возбуждения, шагом. Я тоже иду к дому.

— Нагулялись? — встречает меня Флегонтов и сообщает радостную весть: — Нашли матку! Сколько искали, а она сидит в летке и не шелохнется! Достал за крылышки, бросил в ящик. Она свое место в семье найдет!.. — Это он говорит Стырцу. И снова мне: — Продал бы Христофору Анастасьевичу семью без матки — скандал!

Вот тут я не выдержал и рассвирепел.

— Пчелы, матки, Христофоры Анастасьевичи! А когда я дождусь, что вы посвятите меня в свои тайны?

Флегонтов как стоял со скобелем и дымарем, так только взглянул на меня измученными глазами язвенника и бабахнул, точно из тяжелой гаубицы:

— Обманывают они вас. Дело вовсе не в колебаниях и сомнениях. Речь идет о том, чтобы закрестить начисто весь проект!

— То есть как?! — вскричал я так, как всегда вскрикивают в таких обстоятельствах.

— А вот так. Откуда можно получить быстрее экономическую отдачу, от энергетических гидроузлов или от тепловых электростанций?

— Да что вы говорите такое? — снова спросил я, все еще не придя в себя от неожиданности.

Флегонтов сделал таинственное лицо и показал на небо: дескать, мол, все в воле божьей!

Не успел я слова вымолвить, как старик Стырц бесцеремонно ввязался в разговор.

— Без матки, однако, семья пропадет, — требовательно и строго произнес он; он все еще не переборол в себе подозрения, что его обманывают.

— Теперь все в порядке, Христофор Анастасьевич. Ведь матку я нашел, — успокоительно ответил ему Флегонтов.

— Думаете, примут ее пчелы? — продолжал допытываться Стырц.

Его руки в багровых пятнах от пчелиных укусов. На лбу вздулись шишки, пальцы, измазанные в меду, распухли. Надо полагать, изрядно возросла его мужская сила! Хозяйка припудрила старика синькой, отчего физиономия его стала уж совсем разбойничьей.

Флегонтов и головы к нему не повернул. Он стоит передо мной, понимая, что сейчас уйти от разговора не удастся, и по его не то печеночному, не то язвенному лицу я вижу, как ему этого не хочется.

— Можете вы объяснить подробнее, что означают ваши слова? — говорю я. — Ведь за тем я к вам и приехал.

— Обязательно! Но всему свое время.

— Вот это время и пришло.

— Нет, нет, пожалуйста! — вмешивается тут Елена Ивановна, которая как раз вошла в дом. — Время пришло позавтракать.

Я отступаю беспрекословно. Давно пора хоть немного подкрепиться. Кроме обычной еды из дачных припасов, на стол подается целая миска меда. Как выясняется, Флегонтовы снимают с пасеки до четырехсот килограммов в год. Почти полтонны! Куда им столько меда? Оказывается, имеется постоянная клиентура, — раскупают продукцию по пятерке за килограмм, — их мед лучше рыночного, лучше, чем в магазинах. Неплохой довесок к служебному окладу! Да еще огород у них тут. Сейчас весна, для овощей рано, но к осени будет — ого-го! Да еще фруктовый сад. Да еще клубника. Хоть далековато от Ленинграда, а машина своя, глядишь, нет-нет да и вымахает Павел Тимофеевич с полным багажником на колхозный рынок, а жена — продает. Может, только к этому и клонятся все интересы Флегонтова, а меня он привлек,

так сказать, для декорума? Перед самим собой погордиться, покрасоваться да жене показать: не так уж мы погрязли с тобой в болоте мещанства и скопидомства, ко мне и с периферийных стройплощадок люди заглядывают!

Тем временем жена Флегонтова заговаривает со мной о полиартрите — давно ли страдаю, да как лечился прежде, да не пробовал ли применять пчелиный яд? Вот сейчас мы и начнем лечение! Посадим несколько пчелок к больному суставу, они вас кольнут чуть-чуть, сразу почувствуете, как боль рассасывается.

Да мне сейчас не до лечения. Мне сейчас важно узнать, насколько серьезно то, что сказал Флегонтов и что еще он может сказать. Надо немедленно вызвать сюда всю команду во главе с Семеном Борисовичем!

Тем более что пчелиный яд в виде мази для втирания я уже пробовал, помогло, но не очень. И змеиный яд пробовал. И еще какую-то мазь. И черт меня дернул усомниться сейчас в пользе пчелиной терапии. Тут они все скопом на меня как напустятся! Да как же это можно, когда практика показывает! Да всякие мази и патентованные средства с пчелиным укусом и равнять нельзя! У нас сотни случаев полного излечения. Как можно отказываться! Тем более майская пчела. Она имеет силу...

Захлопотали они вокруг меня, как возле подопытного кролика, заставляют снять пиджак, рубашку. Сижу полуголый, как дурак. Поймали пяток пчел, присобачили к нужному месту — укус, боль, тьфу, будь оно все неладно! И тут вдруг без всякого подвоха с моей стороны что-то случилось с Флегонтовым. Его точно прорвало, точно, не выдержав накала, сгорел в нем какой-то предохранитель.

— Сил моих больше нет! — вдруг заговорил он с горечью и волнением. — Кто-то там наверху обронил дилетантскую мысль. Серьезного значения она не имеет, экономического обоснования — никакого, одна эмоция, а у нас сразу ее подхватывают, раздувают и — пожалуйста бриться! — говорит он, глядя через закрытое окно на свою пасеку!

Я всполошился. Я чуть не трясусь весь. Вот он, тот разговор, которого я ждал.

— Вы что, не понимаете? — оборачивается Флегонтов от окна. — Вам говорят: бетон, изыскательные уточнения, створ. Все отговорки. Причины совсем другие.

Вмешалась жена Флегонтова:

— Павел, я тебя прошу... — начала она.

Флегонтов прервал ее:

— А я прошу, дай мне поговорить с моим товарищем! Возьми Христофора Анастасьевича, покажи ему наш лучший улей. Пожалуйста, прошу тебя.

Она внимательно поглядела на мужа, но возражать не стала. Когда Елена Ивановна со Стырцем вышли из комнаты, Флегонтов сказал:

— Электростанция тепловая, работающая на угле, или на газе, или на нефти, обходится дешевле, чем гидростанция. Ее можно быстрее построить и пустить в ход. Так это или нет?

Но меня не легко сбить.

— Все зависит от конкретных условий. Это известно любому технику.

— Нет, вы ответьте, правильно это в принципе?

— Да при чем тут принцип, когда имеется конкретный объект? Вы не хуже меня должны знать, Тюбе-Каштырская ГЭС возводится в уникальных условиях — створ в гранитных берегах, узкое скальное русло, обилие местных стройматериалов — гравий, песок, щебенка. Только цемент нужно подвезти. В зоне затопления нет пахотных земель, нет лесных массивов, нет населенных пунктов. Дешевизна затопления исключительная. Значит, величина удельных капиталовложений будет меньше, чем при сооружении тепловой станции такой же мощности. Это подсчитано. Чего стоят после этого все ваши аргументы? — говорю я очень сдержанно, хотя дается мне это с трудом.

Он кладет руку на мой локоть.

— Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь!

А я чувствую, что он сам взволнован до чертиков и не может справиться с волнением.

Но о нем я ничего не говорю. Я говорю о себе.

— Как же мне не волноваться, когда я за пять тысяч километров приехал, а меня оглоушивают подобной чепухой! Ведь это немыслимое дело. Вложены колоссальные средства, и теперь все прекратить из-за того, что кто-то, где-то, чего-то не понял и вынес решение: давайте экономить и выигрывать время? Но к экономическим и техническим проблемам огулом нельзя подходить. Каждый объект требует своего собственного рассмотрения с точки

зрения экономики, техники. Наконец, здравого смысла. Где же диалектику применять, как не в этом?

— Другой бы вам ничего не сказал. Не пустился бы откровенничать, — говорит Флегонтов. — Да, да, что вы думаете? И вида бы не показал. А я правду-матку режу: вас здесь без толку маринуют. И у меня сердце болит глядячи, как вы мучаетесь, — горячо продолжает он.

— Послушайте, Павел Тимофеевич, — повторяю я спокойно, — любой энергетик, да что там энергетик, любой экономист согласится, что в Назарове, например, целесообразно было строить тепловую электростанцию, там гигантские запасы дешевого угля. В наших условиях — ничего не может быть разумнее гидроэлектростанции. В большой энергетической цепи Средней Азии главнейшее звено — Тюбе-Каштырская ГЭС.

Вижу, он меня не слушает. Не слушает меня, прерывает, сжав виски ладонями, начинает говорить сам:

— Если бы вы знали, как я вам завидую! Как я рвался куда-нибудь на строительство, на производство, к людям, в жизнь! Я был, понимаете ли, на взлете. Да вот засосало, и время ушло, так и застрял в Ленинграде.

Слышите? Застрял в Ленинграде! Теперь я начинаю понимать с удивительной отчетливостью, что происходит с Флегонтовым. Инженерная совесть заговорила. Разбередали его мои терзания. Мои печали его всколыхнули. Вспомнил человек, как сам рвался на простор. Вот какая хитрая петля! Потому он и потащился за мной в ресторан, да только не решился на объяснения, — еще услышит кто-нибудь невзначай. Тогда он и стал зазывать меня на дачу. Да вот беда: слабая натура, — не устоял на даче против хозяйственных забот. Захлестнула его родная стихия, улыи, пчелы, старикан-покупатель...

— Что же вам помешало вырваться из Ленинграда? — не скрывая иронии, спрашиваю я.

— Духа не хватило. Решимости. Жена у меня чудеснейший человек, она работала в университете, мать болела, дети. Ушел в эту чертову дачу, в пасеку, превратился в какого-то обывателя.

— Искали забвения?

— Да, да, да! — закричал он. — Не хотите меня понять, а я устал, выбился из колеи. Каждый день какая-то нелепая служебная тягомотина. Увязки, согласования. Стал выступать в роли обличителя, а прослыл интриганом.

Пытался найти отдушину. И жена считала это уберезет меня от лишних переживаний. И вот — жестокое неудовлетворение, разочарование. Ничего не получилось...

Говорит он все это с болью, с надрывом, а у меня в душе почему-то нет к нему ни сочувствия, ни жалости, точно веры нет к его словам.

Как раз в разгар его излияний, возвращается со Стырцем его жена.

— Господи, Павел! Да что ты говоришь!

Она, ей-богу, просто испугалась. Но Флегонтов несет свое, ничего не слушая:

— Тут такое раздолье, такая красота, — и он ручищами разводит, имея в виду свои владения. — Хватит! Мне пятьдесят восемь лет, до пенсии ждать недолго. Брошу все, буду пчел разводить!

Понимаете, какая получается ситуация? Он словно нарочно повторяет символ веры старика Стырца. Ну, а тот сразу встревает в разговор:

— Что говорить, программа — дай каждому. Только есть маленькая неувязочка, — и улыбается. — Надо было обзаводиться собственностью. Арендованная дача — это, как бы сказать, сон, мираж.

— Постоянная аренда, какая разница, — досадуя на неуместное замечание, говорит жена Флегонтова.

— Нет-с, я прав, — настаивает Стырец. — Возьмите вопрос с ремонтом. Небось за собственные средства отремонтировать нет расчета, а когда дождешься, куда встрянет поселковый Совет? Эти дела я очень хорошо понимаю. И наследственного права нет, а у вас — дети, — продолжает он, не давая никому и слова сказать.

— При чем тут расчет, наследственное право? — рассердился Флегонтов. — Не к чему нам выкупать эту дачу. Да и порядка такого нет, и закон не позволяет.

— Порядок! Закон! — между тем не унимался Стырец. — А почему, позвольте спросить, на свете существует порядок? Откуда порядок, а, к примеру, не хаос? Почему закон, а, скажем, не беззаконие? И везде так, во всем, вот что достойно удивления. — И с отрешенным видом мыслителя старикан продолжает: — Допустим, порядок придумал человек для собственной надобности. Чтобы не было путаницы, скажем, где твое, а где мое. А в природе откуда порядок? Почему вот нос — а не хобот? Ведь нос мог расти и расти? Почему пчела жалит, когда опас-

ность, почему солнце всходит каждый день и в том месте, где положено? Был бы бог, тогда понятно, но ведь бога-то нет, это и наукой доказывается, и сам знаю, в туберкулезной больнице служил. Был бы бог на свете, уж где-где, а там бы я его увидел!

Ничего этого Флегонтов уже не слушает. Он смотрит отсутствующим взглядом за окно и думает какую-то свою, судя по лицу, нелегкую думу.

— У нас в институте считают, что сделают политику, на самом деле не политика это — политиканство! Вот где наша беда, — говорит он вдруг и, повернувшись ко мне, грозно смотрит прямо в глаза.

— Хорошо, пусть так. Ну, а вы что-нибудь сделали, чтобы прекратить эту ахинею? — спрашиваю я.

— А что я мог сделать? — страдальчески произносит он. — Надоело! Ненавижу! — говорит он, повышая голос. — Пытался уйти от самого себя, забыться. Глупые иллюзии!.. — Теперь он почти кричит. — Вас пугает эрозия почвы (я об этом ни слова не говорил), а у меня — эрозия души! (Наверняка заранее заготовил громкую фразу.) Да, оказался слабаком. Сил не хватило. Выдержки. Зарылся в дачное хозяйство, в пасеку!.. Мещанская скорлупа. Ах, как стыдно, как глупо! И все глубже, глубже увязаю в этом болоте, в этой тине.

Представляете себе? Нашелся Прометей!

Он пытался сказать еще, что он не какой-нибудь приспособленец, и что у него есть опыт, — он знает, почему фунт лиха, знает и то, что директор — это директор, а министр, скажем, — это министр, и что ни на минуту служивому человеку нельзя забывать, как иной раз следует повернуться, а как и сманеврировать.

Я ни в грош теперь не ставил его слова. Он попросту снохватился, что в моих глазах, хотел того или нет, а выглядит он не лучше Стырца, и теперь старательно запел новую арию: не подумай, дескать, не дай бог, что между нами есть что-то общее. Конечно, условия жизни создались такие, что он, дескать, вынужден был зарыться в бумаги, обстоятельства заставили, но, вообще говоря, он, мол, по-прежнему боец, активный член нашего общества!

Надо думать, арию свою он пел, отлично сознавая, что позиция его выглядит не очень-то убедительно. И тут вдруг пошла полная чертовщина. Играл ли он комедию или сорвался из-за душевного разлада, только, к моему удив-

лению, с нечленораздельным выкриком Флегонтов смахнул вдруг с подоконника инструменты, гнилушки для дымаря, вощину, тяжелым молотком с маху хватил по этажерке. Но, как говорится, хоть ты и Александр Македонский, зачем же стулья ломать?

Елена Ивановна и Стырц повисли на нем с двух сторон. Я бросился на подмогу.

— Павел, Павел, ну что ты, успокойся! — чуть не плача, кричит Елена Ивановна.

Вместе со Стырцем мы держим Флегонтова. Он весь дрожит, как от холода, и руки у него липкие, ледяные. Жена дает ему валерьянки. Он убирает ладонью мокрую прядь со лба и молча опускается на скамейку.

Казалось бы, вот и вся история. Я понимаю уже, что ничего больше от Флегонтова не узнать. До темноты еще часа четыре, а потом что? Сидеть с этими людьми в душной комнате, куда и струйки свежей не проникает снаружи, слушать их паскудное жужжание, их нищенскую философию, и Флегонтов опять будет каяться, исповедоваться, брюзжать. Потом тебя уложат спать в одну из этих кроватей-ящичков, как в гроб. Рано утром на голодный желудок ехать в машине с неприятным стариком и его ящиками, полными разъяренных пчел, — на переднее сиденье сядет жена Флегонтова, был разговор, что она утром тоже поедет в город, — и такая тоска меня взяла!.. Наступит вечер, люди будут жаться к керосиновой лампе, и разговор снова пойдет о пчелах, о ценах на мед или, не дай бог, о целебном свойстве пчелиного яда... А уже деться тогда будет некуда — на ночь глядя отсюда не сбежишь!

Я встал, прошелся по комнате, больше похожей на сарай, чем на жилое помещение, подошел к окну. Красиво. Да. Даже какая-то мучительная вокруг красота. И вообще, как прекрасна жизнь, ничего не скажешь. Но до чего же некоторые противно и подло загаживают ее тупыми интересами, дешевыми обывательскими помыслами, растерянностью, безволием.

Я представил себе это поразительное несоответствие масштабов. С одной стороны — строительство гидроэлектростанции огромной мощности. Человеческой воле подчинится могучая бурная река. Представил себе великолепие инженерной мысли, красоту технического решения, —

они преобразуют дикий край, площадь которого — полдесятка европейских государств. И с другой стороны... И где все это происходит? В прекрасном Ленинграде.

Конечно, Флегонтов не строил дачу на ворованные деньги. Он ее арендует, как может арендовать любой из нас. И от его пчел, и от его меда есть польза для всех. Но примирить в своей душе все эти несоответствия, эти несоизмеримые величины я не мог.

Тошно мне стало до невозможности. Я решил не ждать завтрашнего утра.

— Можно отсюда уехать поездом? — как можно деликатнее спросил я Флегонтова.

Он уже совершенно успокоился и, сидя на большущей скамье, стругал острым ножиком какие-то планки.

— Зачем же поездом, когда у меня машина?

— Видите ли, Павел Тимофеевич, я решил ехать сегодня. Все, что вы хотели сказать, — сказано. А сельской тишины я не любитель.

— Да перестаньте вы, как не стыдно, — начал было Флегонтов, прекращая стругать планку и поднимаясь со скамьи. — Я повожусь еще малость, нужно кое-что сделать на пасеке, потом возьмем удочки, сходим к озеру, знаете, какой тут вечерний клев. Ведь я хочу, чтобы вы отдохнули от своих мытарств.

Видно, он попросту не понимал, как он смешон с этим бунтом на коленях, с этими потугами на роль непонятого прогрессиста, наконец, с этими благотворительными претензиями.

— Нет, спасибо. Я решил твердо, — говорю я. — До станции здесь далеко?

— Шесть километров, — отвечает Елена Ивановна; она сразу поняла, что меня не отговорить.

— Пчел испугался, — произнес Стырц тоном первооткрывателя.

— Ничего я не испугался, — огрызаюсь я. — Когда поезд?

— В восемь вечера, — говорит Елена Ивановна.

— Вот и отлично. Часа за полтора, не спеша, доберусь до станции, — говорю я вполне миролюбиво.

— Зачем же пешком? Павел Тимофеевич до станции вас довезет, — говорит Елена Ивановна.

— Никуда не повезу! Нечего ему уезжать, — возражает Флегонтов с новым приступом ярости.

— Ладно, не беспокойтесь, дойду пешком, — говорю я, стараясь поскорее от них отделаться. — Давайте прощаться.

Старик Стырц хранит красноречивое молчание, и только хитроватая улыбка мерцает на его розовощеком лице.

— Чего кипятиться, не понимаю? Отвезу, ладно, — говорит тогда Флегонтов и идет за машиной, которую он загнал под навес.

Я встал, поклонился старику, но руки не подал. Он, счастливо улыбаясь, закивал в ответ. Жена Флегонтова попрощалась со мной холодно.

— Вы на Павла Тимофеевича не обижайтесь, — сдержанно сказала она, провожая меня к выходу. — Он, конечно, трудный человек, больной, нервный. Энергии много, а, посмотрите, весь дергается.

Чтобы он дергался, этого я не заметил. А нервный, что же, все мы нынче нервные.

— Да, конечно, — отвечаю я на ходу, надеясь, что не придется вдаваться в подробности. — Душно у вас здесь, очень душно, — неловко добавляю я, имея в виду духоту в помещении.

Но она, по-моему, поняла меня правильно.

Быстро и ловко, того и гляди помнет колпаки колес, в сердцах погнав Флегонтов машину по лесной дороге. Видно, он все еще не мог мне простить, что я не принял его исповеди и покаяния.

Но вот и станция.

Я вылез, сказал «до свиданья» и пошел брать билет.

Когда я оглянулся, поднявшись на платформу, Флегонтов сидел в машине и глядел мне вслед, огорченный и недоумевающий: почему все-таки я бегу из его чертова рая?

Я вошел в станционную будку, подошел к кассе. Было слышно, как он завел машину, газанул, — взвизгнула резина на крутом повороте, — и все стихло.

Я взглянул на расписание возле кассы и не сразу сообразил, что там написано. Не знаю, как сейчас, тогда в сутки на той станции проходило всего четыре поезда — два туда и два обратно. Мой должен быть скоро — в двадцать часов четыре минуты. Но что за чертовщина, в Ленинград он приходит около часа ночи! Значит, с этой станции на Приозерском направлении он тянется до города почти пять часов?

Пять часов в поезде! Вот так съездил на дачу! Как говорится, аз да увяз, да не выдрахся!

Обидно! Как глупо потеряно время! Я мог бы пойти в Эрмитаж, в Русский музей, там, говорят, новая экспозиция. Мог попасть в филармонию. На старости лет я стал любить симфоническую музыку с болезненной страстью.

Кого винить? Флегонтова, за то, что он показался мне не тем, кто он есть? Себя, за то, что доверился ему и влип в эту фельетонную историю? Он тащил к себе с навязчивостью Ноздрева, а я не сумел устоять. Но если говорить о Ноздреве, то Чичиков и сам был дядя не промах, я же попался, как провинциальный карась.

Поезд идет, петушиным голосом покрикивает старенький паровоз, в полупустом вагоне темно, по одной чахлой лампешке горит в одном и в другом конце, я сижу и думаю о нашем проекте, о тех, от кого зависит решение, думаю о Флегонтове. В те нескончаемые часы я и представить себе не мог, что еще ждет меня впереди.

А ждало меня вот что: на ближайшем заседании ученого совета в Проектэнерго вышеописанный друг мой и покровитель, Павел Тимофеевич Флегонтов, страдающий из-за печени, почек и ведомственных интриг, этот самый милейший, гостеприимнейший Флегонтов выступил вдруг с разнесом проделанной нами работы, а в особенности долбанул все наметки, касающиеся бетона, методику его применения, остроумие его выбора. В моем присутствии, представляете?

К счастью, я в Ленинграде был уже не один. Накануне прилетела наша команда во главе с Семеном Борисовичем, но самый факт невиданной подлости, по-моему, весьма примечателен. Всего четыре дня назад, — не год, не полгода, не месяц наконец, — четыре дня назад он распинался передо мной в сочувствии, пел дифирамбы и похвалы нашему проекту, в особенности бетону, а теперь, пожалуйста, — все ни к черту!

Сыграла ли тут роль зависть, злая и примитивная, как квартирная склока, или сознание того, что ты бессилен что-нибудь изменить, или просто у человека комплекс был такой: перед тем как нагадить — подладиться к тебе, подсластиться, — на это я не берусь ответить, хотя думал о Флегонтове много.

Вероятно, сейчас в моем рассказе все происшедшее выглядит упрощенно, поскольку считанные дни остаются до

пуска первой очереди и, в сущности, не о Флегонтове мысли мои сейчас. Тем не менее, как видите, меда было много, но и дегтя достаточно.

Чтобы из этой грустной для меня и противной истории извлечь хоть немного смешного, сообщу под конец: после единственного сеанса пчелинотерапии у меня чуточку как будто полегчало с рукой. Было ли так на самом деле или мне только так казалось, — и помогли не укусы сильной майской пчелы, а нервная встряска, — не могу судить. Факт, однако остается фактом, — получилось форменное свинство: досадное знакомство с этим хуторским типом, так или иначе принесло мне облегчение, если иметь в виду мой мучительный застарелый полиартрит.

Самая простая история

Всем известны случаи, когда самые что ни есть хрупкие вещи переживают своих владельцев. Не стану возражать, если вы скажете, это литературная банальность поминать о том, как человек упал, например, в силосную башню, разбился насмерть, а стосвечовая лампочка, которую он собирался ввинтить в патрон, уцелела и отлично зажглась, когда ее включили в сеть.

И все же грустная история, случившаяся с моим соседом по квартире, — я жил тогда в Воронеже, — чем-то напоминает мне печальный парадокс: сравнительная долговечность предмета, созданного руками человека, и его собственное существование...

Должен вам сказать, что мой сосед в Воронеже был тихий и скромный человек, и фамилия у него была тихая и скромная — Михейкин. Может, из-за фамилии и характер у него сложился терпеливый, покладистый. Жена у него была милейшая женщина, учившаяся на биофаке. Звали ее Лизой. Прекрасная была пара, а Михейкин к тому же — мой партнер по шахматам, когда мы по вечерам возвращались с работы.

Очень простая история, житейский случай. А может, вся беда приключилась из-за того, что они детей не завели вовремя?

В свое время, нужно вам сказать, Михейкин окончил строительный институт, но так сложилась его участь, что уже давно он перешел на партийную работу и, пожалуй, здесь нашел свое призвание.

Однажды, как всегда говорится в очень простых историях, для ликвидации прорыва на строительстве металлургического комбината в Восточной Сибири по решению

высоких инстанций была объявлена мобилизация кадров. В число мобилизованных из Воронежа попал и мой Михейкин. Срывать Лизу с учебы? Но ей какой-нибудь год остался до окончания университета.

Придя домой, Михейкин сказал, чтобы не огорчать жену: мобилизация продлится пустяковый срок, максимум — три месяца. Как только ликвидируют прорыв, все вернутся по домам. Но, говоря так, он полностью отдавал себе отчет, что Лизу не обманешь: она не может не понимать, что три месяца могут растянуться и на три года. И тем не менее всем было ясно, что бросать бпофак на последнем курсе — полнейший абсурд. Чтобы не огорчать друг друга и собрать все свое мужество, они, зная, что разлучаются надолго, делали вид, будто Михейкин просто уезжает в длительную командировку.

Через три дня я провожал его вместе с Лизой. На вокзале она старалась казаться веселой. Он тоже шутил и смеялся. Они оба делали вид, что ничего особенного в их жизни не происходит. Мне со стороны было видно, как, оберегая друг друга, они обманывают самих себя. Теперь-то я уверен, что так делать не следует. Горе — это горе. А разлука — это разлука. И нечего при этом ломать комедию да еще пританцовывать. Конечно, это мое личное мнение. Тогда на вокзале я так не думал. Скорее даже любовался их стойкостью.

Когда мы вышли на перрон, я сказал, что забыл купить папиросы, и оставил их одних. Может, напоследок им нужно что-нибудь сказать друг другу не для посторонних ушей. Вернулся я к вагону почти перед самым отправлением поезда.

На прощание Михейкин крепко обнял Лизу, и они расцеловались. Мне он сказал, пожимая руку и смеясь, чтобы мы с женой берегли Лизу и следили, чтобы она хорошо себя вела. Так что в общем и целом расстались мы весело. Лиза сунула ему пакет с домашними пирожками. Заплакала она позже. — мы уже слезали с трамвая и подходили к нашему дому. Навязываться с утешениями я не стал. Я просто сказал: «Потерпи, потерпи, Лиза». И послал к ней жену. Она посидела с женой Михейкина часа полтора, уложила ее в постель, напоила чаем. Вот вам вкратце предыстория вопроса.

На строительстве металлургического комбината Михейкина назначили редактором многотиражки «За металл».

Три месяца прошли очень быстро. Как мне было известно по рассказам Лизы, да Михейкин и сам иногда писал, положение на строительстве было сложное, резала их нехватка рабочей силы, мешали перебои в снабжении, что-то не ладилось с транспортом, в общем, обычные дела, — они мучали людей и в тридцатые годы, и в послевоенные.

Временами Михейкин сдержанно жаловался мне, что очень тоскует, в особенности если выпадают свободные минуты; ему даже стыдно, тоскует, словно мальчишка. Неужели всем так тяжело, или он один такой слабый? А как было людям, которые воевали четыре года? Потом пришло письмо, где он сообщал, что положение на строительстве улучшилось и всех охватил настоящий подъем. Там не было, естественно, ни театров, ни приличного кино, ни парков, впрочем, зачем им парки, когда кругом тайга, ни ресторанов, ни кафе и было так мало женщин, что все женщины казались прекрасными. В барачном доме, где жил Михейкин, его пожирали клопы, — темно ли было в комнате или горел свет, в двенадцать часов с поразительной точностью они выходили на охоту из всех щелей. Дезинсекталь в районе достать было трудней, чем манну небесную. Тем не менее настали дни, когда он дважды писал мне, что «все хорошо, прекрасная маркиза».

Через полгода Михейкин как-то собрался с духом и заехал к секретарю райкома, чтобы напомнить: срок мобилизации давно кончился, может, пора им всем укладывать чемоданы? Кириллов, секретарь райкома, человек суховатый, по словам Михейкина, от обсуждения вопроса отмахнулся, как от вещи, совершенно не серьезной, и стал говорить о партийных делах на строительстве агломерационной фабрики и о том, что газета мало внимания уделяет каменным карьерам на Заячьей горе; строители оттуда брали щебенку. Из райкома Михейкин вышел с ясным сознанием, что об отъезде и думать надо забыть: не выдержишь испытания — клади на стол партийный билет.

В редакции многотиражки, кроме Михейкина, работало пять человек. Ребята были хорошие, но неопытные, молодые, лишь на одного Кайтанова можно было положиться — он выполнял обязанности и выпускающего, и литсотрудника, и секретаря редакции.

Газета выходила через день на листе оберточной бумаги; почему-то нормальной они никак не могли получить.

В области их утешали: оберточную бумагу не раздерут на самокрутки, точно рабочий народ предпочитал грубый табак папиросам и сигаретам, которых полным-полно было в магазинах, а для плоской печатной машины хороша и она. Оформление газеты было бедное, иллюстраций мало, так как в местной цинкографии не хватало цинка, и печать была неровная: то чересчур бледная, то слишком жирная. Хорошо ее помню, эту газетку «За металл» — много раз видел своими глазами.

До той поры, надо вам сказать, Михейкин никогда в газете не работал, и по его письмам можно было понять, что новая специальность увлекла его.

Впрочем, что говорить о его редких письмах ко мне, — он и Лизе писал теперь не очень часто — черт-те сколько навалилось работы, к вечеру он едва держался на ногах. Сперва Лиза все жаловалась на кухне моей жене, редко, мол, пишет Михейкин, видно, ему не до меня. А потом, я так думаю, и сама стала писать реже. Как известно из классической физики, действие равняется противодействию. Так оно и пошло со ступеньки на ступеньку. Может, сначала у нее никого и не было в Воронеже. А там, как плесень от сырости, кто-то завелся. Позже Михейкин рассказывал: когда он спохватился, почему Лиза так мало пишет, — было уже поздно, тем более что сам чаще писать не стал, и не потому, я думаю, что недосуг, скорее всего, надо понимать, из гордости. По вечерам иной раз он места себе не находил, рассказывал он позже, видно, чувствовал, что дома что-то неладно. А изменить положение уже нет средств, тем более когда между ним и женой тысячи километров расстояния. И этот чертов электрический свет, помню, жаловался он, желтый и тусклый, — там у них что-то перегорело на электростанции, — очень его нервировал этот неполного накала свет.

Конечно, вы скажете: перестал часто писать, она тоже не торопилась с письмами и что-то у нее, дескать, происходило, ну и что? Само по себе это ровным счетом ничего не могло значить. Мало ли что бывает в семейной жизни? И это правильная постановка вопроса. Во время войны люди мучались в разлуке четыре года, некоторые и вовсе, попавши в окружение, а то и в плен, считались без вести пропавшими, на других похоронные пришли, однако жены ждали, есть переписка или нет переписки. Ждали, тосковали, надеялись, верили. Конечно, те, которые любили.

Вот в этом вся заковыка в конце концов: если любили!

Тем временем наступила зима, как полагается, и в одну ночь у них в Сибири все занесло снегом. Как-то, помню, он написал мне о бульдозерах, ведущих борьбу с заносами, о том, как по всему поселку скрипят под ногами промороженные настилы тротуаров, и снег кругом, — идешь по поселковой улице, как в снежной траншее. Среди этих лирических, но необязательных подробностей через все письмо — одна тревога, что с Лизой.

Представляете мое положение как соседа и товарища? Мы с женой давно уже догадывались, что у Лизы кто-то появился, и, зная ее, мы понимали: обстоятельство серьезное. Впрочем, она ничего, собственно, и не скрывала. Тот, другой, правда, ни разу не появлялся, да ведь это и не обязательно — хватало телефонных переговоров, как-никак общий коридор. И по вечерам ее никогда теперь не было дома. И на лицо взглянешь — любовь, любовь!

Как ни горько нам было все это видеть, мы с женой с ума не сошли и подлецами не стали, чтобы даже как-то намекнуть Михейкину: плохи, мол, дела с Лизой. А придет он, что ему ответишь? Поговорить с Лизой, образумить ее? Да какое мы право имеем вмешиваться? И человек она взрослый, самостоятельный. Знаете, когда в горах обвал, вот хоть на Памире, прежде чем все рухнет и понесется, какое-то мгновение никаких серьезных перемен — только странно и непонятно камни слегка сдвинулись с места и наклонились деревья — и в ту же секунду дикий грохот, треск: все сорвалось, понеслось, взорвалось!

Между тем время шло, и как-то само собой сошла на нет острота, тревога затонула, затерялась в рабочей сутолоке. Газета теперь выходила на четырех полосках. Бумага была все та же — оберточная, шершавая, разных цветов. Михейкин признался мне как-то, что многотиражка «За металл» напоминала ему политотдельские газеты времен гражданской войны, которые он видел в музее краеведения, и он стал печатать в ней такие же громкие, патетические шапки, как в тех красноармейских газетах, когда его еще и на свете не было, и людям это нравилось. Позже Михейкин рассказывал, что возвышенные, романтические представления иногда мешали ему правильно видеть положение вещей. А может, помогали? Об этом ничего определенного я сказать не могу.

Весной беспокойство о Лизе с новой силой охватило Михейкина. Он снова стал подумывать об отъезде. Опять все чаще стали поступать запросы ко мне: что с Лизой? Она совсем перестала писать. Мы с женой ничего не могли ему объяснить.

В ответ на разговоры Михейкина об отъезде Кириллов лишь рассмеялся и посоветовал ему съездить в райком. Он поехал. Секретарь райкома ответил, не вдаваясь в подробности, чтобы он и думать забыл об отъезде, и помахал перед его носом обмороженным пальцем — в конце зимы он со своим шофером попал в пургу.

Летом в отпуск Михейкину съездить не удалось. К этому времени строительство развернулось по всему фронту, и хотя дела шли хорошо, работы было чертовски много — листовки, «молнии» на участках, стенгазеты, рабкоровские кружки. Да и работы в самом парткоме хватало и на его долю. У Михейкина не было свободной минуты написать в Воронеж письмо, и его вопросы, что происходит с Лизой, прекратились. Может быть, ему даже думать об этом стало некогда.

Между тем у Лизы наступила преддипломная практика, или как там это называется, и она тоже поехать к нему не смогла. Не смогла? Да просто не захотела! Осенью ей достали путевку, и она поехала в дом отдыха в Геленджик, возможно, вместе с тем, которого мы не знали.

Очень простая история, вроде той, которая случилась с человеком, упавшим в силосную башню. Он упал, разбился насмерть, а стосвечовая лампочка отлично загорелась, когда ее ввинтили в патрон. Может быть, я ошибаюсь и эта аналогия не верна или совсем не доходчива?

Между тем за лесом, наполовину вырубленным, поднялись тепляки двух домен. Позже Михейкин рассказывал: весной они уже стояли там в полной своей красе, и о них говорили на строительстве с гордостью: стоят, как две шахматные ладьи. Часто, по его словам, возвращаясь со строительной площадки, Михейкин останавливался по дороге в редакцию и подолгу смотрел, как копошатся на колошниковых площадках маленькие фигурки монтажников. Собственноручно Михейкин этих домен не строил. Он лишь выпускал многотиражку, которая должна была вдохновлять строителей. Хорошо ли она их вдох-

новляла, нет ли, но в эти минуты он чувствовал себя так, будто вместе со всеми возводил домны собственными руками. Может быть, именно это Михейкин имел в виду, говоря о романтических представлениях, мешавших ему видеть вещи в реальном свете.

В феврале нежданно-негаданно к нему в редакцию пришел секретарь парткома Кириллов. Михейкин подумал было, что опять начнется неприятный разговор, как это было не раз, что газета скучновата, что мало места дается читательским письмам и нужно будет как-то оправдываться. Против всех ожиданий, Кириллов тронул его за плечо и таинственно спросил, наклоняясь к нему:

— Хочешь домой?

— Домой? — переспросил Михейкин. — Нет, мне еще передовицу писать.

— Ладно, не прикидывайся. Речь о Воронеже.

— Что-то у тебя сегодня игривое настроение, — заметил Михейкин, не предчувствуя истины.

— Думаешь, я шучу?

— А почему бы и нет? Известно, ты человек веселый.

— Ну, так вот, вполне официальное сообщение: начальство обещало дать нового редактора, если ты захочешь восвояси. Мы ведь знаем с Серегиным, у тебя там семейные неприятности...

Серегин — это первый секретарь райкома.

— Какие у меня семейные неприятности? — спокойно переспросил Михейкин; этого еще не хватало — получать какие-то льготы из-за неприятностей с Лизой.

И все-таки Михейкина отпустили. И он, конечно, был рад. И провожали его душевно, потому что он и в парткоме, и в редакции всем полюбился. В помещении редакции — маленькая комната в постройкоме — накрыли составленные вместе столы, в складчину собрали закуску и выпивку, пришел секретарь парткома, говорили прощальные речи. В самый неподходящий момент погасло электричество, но здесь это случалось нередко, и провода продолжались в темноте, так как ни свечки, ни ручного фонарика ни у кого не нашлось. Свет зажегся через час, и почти все, в том числе и Михейкин, оказались подвыпившими.

— Итак, ты уезжаешь, — говорил Кайтанов, верный помощник Михейкина, — не забывай друзей, может, когда-нибудь еще увидимся.

Позже Михейкин уверял меня, что он самым серьезным образом на проводах задал вопрос: а может, ему не уезжать? Все, конечно, приняли это за шутку, в том числе и секретарь парткома.

— Через год-другой, ты эти края не узнаешь, — сказал секретарь, вздыхая.

А Михейкин сказал Кайтанову:

— У меня к тебе просьба, присылай, пожалуйста, газету в Воронеж. Знаешь, мне будет очень приятно следить за тем, что у вас делается.

— Наверное, приятнее, чем видеть это своими глазами и все осложнения испытывать на своей шкуре, — сказал кто-то.

— Эй, бросьте! — сказал Кириллов. — Все-таки можно сказать, «За металл» — его детище.

— Ладно, — сказал Кайтанов, — замечано. Дам твой адрес, товарищ Михейкин, в экспедицию.

Потом Михейкина посадили в старый райкомовский «газик», и он тронулся к станции.

Лиза встретила его в Воронеже на вокзале и по дороге домой, в такси, все выложила ему прямоком и без утайки.

Наверное, из-за этой истории я хорошо запомнил ту весну в Воронеже. Она была какая-то буйная, дружная весна. Только, казалось бы, лед на реках прошел, а на улицах и во дворах, глядишь, уже распускаются деревья. В скверах и палисадничках до вечера копошились дети, и няньки или бабушки не успели, по-моему, сменить зимние платки и знай только судачили на скамейках, как воробьи. Во дворе дома, где мы жили, круглые сутки шумел компрессор. Ночью во всех комнатах нашей квартиры, выходявшей окнами во двор, было светло от прожектора — его установили на крыше дровяного сарая, занятого под бетономешалку. Рядом с нами строился высокий жилой дом.

Михейкин держался превосходно. Он не лез с объяснениями, не устраивал сцен. Не знаю, может быть, от этого было труднее и ему, и Лизе. Но как иначе должен был он себя вести? Ходить к нам плакаться в жилетку? Принуждать Лизу, чтобы она порвала с тем и оставалась дома? Нет ничего сложнее этих проклятых простых историй. Он долго был в Восточной Сибири, она оставалась в Воронеже. Все было неотвратимо, как выводы из теоремы о прямых углах, если подходить к проблеме без дураков и

без ханжества. Может быть, они недостаточно любили друг друга?

Кто может на это ответить с полной уверенностью? Может быть, Лиза считала, что Михейкин — пентюх, не умеет устраиваться? Вот меня, к примеру, не мобилизовали... Нет, не думаю, чтобы она так считала. Я думаю, Лизе было тоже трудно, как Михейкину, и он, возможно, это понимал. И, понимая, он ждал. Лишь однажды мы засиделись в пивном баре, и он сказал, что поторопил ее: пусть решает, как жить дальше.

Знаете, в сущности, мы с женой были для Михейкина посторонними людьми, соседи по квартире, ну, разговаривали, играли в шахматишки, не более того. Он — партийный работник, я — учитель математики, в сущности, не много общего. Но такое в те дни у меня сложилось настроение, что по ночам я долго не мог заснуть, все лежал в освещенной прожектором синей комнате и решал за Михейкина и Лизу геометрическую теорему, решал и не мог решить. А вы бы решили? И тем более это была не теорема, а обвал. Так ли, иначе ли, все было чертовски мучительно. То Лиза говорила, что решила остаться с ним, то есть с Михейкиным, а к вечеру ее охватывало судорожное волнение, она металась по комнате, не находя себе места, — все слышно было и нам с женой; начинала плакать и, не выдержав, уходила к другому. Кто он такой был? Черт его знает, никто из нас так его и не видел ни разу. И каждый раз Михейкин не спал до ее прихода, а вместе с ним и я почти не спал, потому что слышал, как он кашляет у себя, расхаживает по комнате, выходит на кухню покурить.

Кое-кому, может быть, не верится, как это так получилось, что Михейкина за здорово живешь отпустили до конца строительства? Такого, дескать, не бывает. Ну, что же, поясню, что скрывать, в самом деле. Я сходил в райком, признаться, у себя в Воронеже, не знаю, прав ли я был, нет ли, сходил посоветоваться, и мы написали туда, в Восточную Сибирь, осторожное письмо, дескать, Михейкину следовало бы вернуться, иначе развалится семья. И письмо возымело действие.

Какое-то время спустя внешне все как будто определилось. Страсти улеглись, волнения утихомирились. Лиза перестала метаться по вечерам и рваться из дому. Почему она приняла такое решение, а не иное, этого я не знаю.

Зато знаю другое: Михейкин старался ни с кем не говорить, ни со мной, ни с моей женой, что произошло между ним и Лизой, и я видел, что с каждым днем вместе с тем ему становилось все трудней удерживаться от этой темы. Вероятно, он надеялся, что чувство неприязни к Лизе пройдет. Время шло, а оно не проходило. И позднее он сам рассказывал — он не мог быть с Лизой таким, как прежде, и она казалась ему не такая, какой была до его отъезда в Сибирь, и каждый раз, когда наступало время ложиться спать, он чувствовал невыносимое раздвоение — желание и неприязнь. И я понял его так, что он овладевал ею грубо, без ласки, как бы мстя за все, что произошло, а потом лежал рядом с ней, полный невысказанного отвращения к Лизе, к самому себе, а Лиза тихо плакала, отвернувшись к стене. Это все было невыносимо.

Он стал подумывать, а не вернуться ли в Сибирь? Бывали дни, когда он твердо решал, что так и сделает. Его останавливала только боязнь, что на прежнем месте, как и в Воронеже, он не сумеет отделаться от того, что должно быть забыто.

Тупик был непреодолим. Не было выхода, не было решения, как всегда бывает с этими простыми историями. Наверно, каждый знает: восстановить то, что было разрушено, задача порой невыполнимая. И вместе с тем каждый, наверное, знает, что при всех обстоятельствах в конце концов находится выход. Нашелся он и для Михейкина.

Стараясь перебороть в себе постоянную боль, свившую прочный клубок в его сердце, преодолеть злость на прошлое, досаду и ревность, нерасторжимый клубок боли, нарочно, надеясь одним ударом рассечь все, покончить с мыслями о том, что было, раз и навсегда, в надежде, что вдруг как-то по-новому повернутся их отношения, он повел Лизу пообедать в ресторан, а оттуда они пошли в театр, пьеса была как раз для них — шиллеровская «Коварство и любовь». Был теплый, безветренный вечер, лето в разгаре, а он простудился, схватил крупозное воспаление легких и при том уровне медицины его не удалось спасти. И это было так нелепо — приехать из Восточной Сибири и умереть в Воронеже.

В газете был напечатан некролог. Со строительства пришел венок, но к похоронам опоздал.

Каждые два дня Лиза вынимала из деревянного ящика для писем и газет аккуратно свернутую бандероль, меченную почему-то четырьмя или пятью штемпелями, и каждый раз ей становилось тоскливо, что его нет, и она некоторое время, я знаю, стояла в коридоре, держа эту узкую, шершавую бандероль в руках, а потом клала ее невскрытой на нижнюю полку шкафа, словно Михейкин мог вернуться и развернуть свою газету «За металл». Правда это или нет, она мне не раз говорила, что ее не оставляет чувство: он еще вернется.

Но человек ломает себе шею, упав в силосную башню, а стосвечовая лампочка, которую он держал в руках, горит. И месяца четыре спустя Лиза вышла замуж за того типа, с которым сошлась, когда Михейкин был в Сибири. Они быстро разменяли комнаты, и мы с женой так и не увидели, кто занял подле Лизы место Михейкина.

Между тем газета продолжала приходить по старому адресу, и теперь я, а не Лиза, вынимал ее из почтового ящика.

I

Село Висючий Бор стояло вдали от большой дороги, и бои почти его не затронули. Правда, еще в первые дни войны вражеская авиация дважды бомбила село и в пыль разнесла сельскую церковь, и развалила кооператив, но зато в дальнейшем все боевые действия проходили мимо, только раненые в поисках медицинских пунктов иногда забредали в Висючий Бор.

А потом пришли немцы.

Они повесили у колодца старика Гладышева, убили вечером глухую старуху Дашкину, выпороли на площади трех женщин и двух стариков, затем стали угонять в Германию всех девчат, парней и нестарых женщин. Люди в Германию идти не хотели, плакали, разбегались, и тогда немцы подняли стрельбу и убили для острастки четверых.

Петя стоял вместе с матерью, которую также угоняли в Германию. Он видел, как падали убитые. Он стал плакать и кричать, и мать не могла его успокоить. Когда немцы погнали всех за околицу, он хотел идти с матерью. Небритый немец оттолкнул его, но Петя не уходил, рвался к матери и укусил немца за локоть. Солдат выругался, ударил Петю прикладом, и когда мальчик очнулся, немцев уже не было, а соседка Марья Дмитриевна Свешникова, пожилая женщина, брызгала на него водой.

Петя хотел бежать за матерью и долго рвался из рук Свешниковой, и вырвался наконец, но не смог идти; голова у него кружилась, перед глазамиплыли красные пятна — и он упал, сделав несколько шагов.

Так остался один восьмилетний мальчик Петя Юкачев.

Свешникова сперва все порывалась увести Петю к себе, но мальчик идти к ней не хотел и говорил, что будет жить в своей избе и ждать, когда вернется мама.

— Дурачок, — уговаривала Свешникова, — она, может, никогда не вернется.

— Нет, — ответил мальчик, — нет, нет, нет...

И пачинал плакать. Он не хотел верить, что мама никогда не вернется.

Затем вскоре опять пришли немцы, сказали, что в Висючем Бору скрывается партизан, и, если люди сейчас же его не выдадут, солдаты будут стрелять и жечь. И они действительно так сделали.

Они обложили соломой дома и сарай, облили керосином и подожгли. И все сгорело в Висючем Бору: сгорели дома, сарай, скворечники, кресты на церковном кладбище. Не тронутые огнем остались только развалины кооператива.

Когда догорели последние головешки, Свешникова взяла Петю за руку и сказала, что они все уходят в лес и будут там жить в землянках. Но Петя ответил, что никуда не пойдет, он останется ждать маму. Свешникова стала тащить Петю, но мальчик вырвался и побежал в лес.

В село Петя вернулся к вечеру. Здесь уже никого не было — одни кошки, потому что собак люди увели с собой.

Пете было очень страшно. Он долго плакал, кричал, бился головой о землю, но никто его не слышал. Потом от усталости он уснул в теплой куче золы.

К тому времени, когда наступил новый день, в селе не осталось даже кошек, одичавших от пожара. Кругом чернели головешки, закопченные остовы печей, утюги, чугуны, обручи от бочек. Петя не понимал, как быть дальше. Несколько раз по привычке он принимался плакать, но в конце концов у него не хватило слез. Тогда мальчик решил, что теперь он умрет, если мама не придет скоро, и сел у печки своего дома, но смерть не пришла, и мамы не было, и он страшно захотел есть. Долго он не мог понять, где взять пищу. Потом заглянул в печку и нашел котелок с картошкой. Она сварилась во время пожара.

Петя наелся несоленой картошки и заснул снова. Проснулся он, когда уже стемнело и над ним стоял дед Яков.

— Давай, поднимайся и пойдем жить в лес, — говорил дед. — Здесь пропадешь один.

Петя поглядел на деда и затряс головой.

— Да ты совсем очумел, чертов парень! Сколько километров перся из-за тебя. Давай, вставай! Я человек старый, и ноги больные, и ночь почти на дворе, а обратно идти еще невесть сколько.

Петя наконец поднялся и пошел с ним. Они шли долго. Дед Яков все сердился, что столько километров ему пришлось пройти, но разве можно — парень брошенный, один не проживет. По дороге Петя вдруг вспомнил, что мама вернется, а в селе никого нет. Он вырвался и побежал обратно, и дед Яков его не догнал.

Днем Петя бродил среди сгоревших домов и еще в одной печке нашел чугунок с картошкой. Потом он догадался облазить погреба. В погребах кое-где отыскалась разная пища: соленая капуста в бочках, соленые огурцы и много семенной моркови и картошки. Петя нашел даже муку и зерно.

Через несколько дней из лесу пришла Свешникова. Петя заметил ее, когда женщина выходила из овражка, и догадался, что она пришла за ним. Ползком и короткими перебежками Петя пробрался к развалинам дома и спрятался там.

Мария Дмитриевна долго ходила по сожженному селу и звала Петю, но он не показывался.

Люди из лесу и позднее приходили не раз. Они раскапывали на пепелищах уцелевшие вещи, но каждый раз Петя успевал скрыться.

Когда началась осень, такая тоска охватила сердце мальчика, что он решил уйти к людям, в лес. Но из лесу больше никто не приходил, и Петя не нашел пути к лесному лагерю.

Так прошла осень, и наступила зима. А мальчик продолжал ждать свою маму. Летом и осенью он иногда разговаривал сам с собой, мурлыкал что-нибудь себе под нос, а потом отвык.

II

Петя не умер ни от холода, ни от голода. Он жил в норке, в развалинах кооператива, от сырости у него распухла и болела нога, щеки его ввалились, он с трудом просыпался, едва ходил. Постепенно он отвык говорить, совсем одичал.

Однажды утром, ковыляя к реке, чтобы напиться, Петя услышал за печкой Гладышевых стон. Петя шагнул за угол печки и увидел бледное, небритое, окровавленное лицо. Оно показалось мальчику мертвым. Петя не двигался. И вдруг губы у человека зашевелились, затем он приподнялся. Руками человек упирался в заснеженную землю и подтягивал все тело. Увидев Петю, он вытянулся на земле и слабым голосом позвал:

— Мальчик! Мальчик!

Петя сделал шаг навстречу.

— Пить, — сказал человек. — Я ранен. Дай пить, мальчик. Принеси воды.

Петя отступил на шаг, потом огляделся, увидел в куче пепла ржавую жестянку из-под консервов и понял, что нужно пойти к реке.

Целый месяц они прожили вместе: мальчик с помраченным рассудком и летчик, самолет которого подбили в воздушном бою.

Листами железа они отгородили ход в нору, тряпьем и соломой позатыкали щели. Летчик объяснил Пете, что нужно натаскать кирпичей, и сложил в норе очаг, который давал тепло и на котором можно было готовить пищу.

Прошло время, раны летчика затянулись, и он сказал:

— Пора собираться в дорогу.

Петя сперва промолчал, а потом сказал:

— Я останусь.

— То есть как? — не понял летчик.

— Останусь здесь, — повторил Петя.

Пять или шесть дней летчик уговаривал Петю идти с ним. Но мальчик не поддавался уговорам. Летчик не знал, как с ним быть. Наконец он сказал, что больше ждать не может, и ушел. Петя долго стоял у развалин кооператива и смотрел, как уходит этот человек, чуть прихрамывая и волоча ногу. Потом Петя ушел к себе в нору и заплакал.

А к вечеру летчик вернулся.

— Так же нельзя, — заговорил он. — Я не могу тебя оставить. Нельзя. Пропадешь один, понимаешь или нет?

Петя молчал.

И еще два дня летчик прожил с Петей и все уговаривал его. Мальчик не сдавался. И тогда летчик сказал:

— Хорошо, завтра на рассвете я уйду. Но я вернусь, помни. Обязательно вернусь.

И Петя остался один. Прошла зима. Наступила весна, лето, а он все ждал, все ждал. Летом было много пищи, потому что на огородах взошла картошка из той мелочи, которую оставляли люди, снимая урожай. Было много ягод и грибов. На дальних пасеках, в поваленных ульях, роились пчелы. В золе Петя нашел крючки и сделал удочку; теперь у него бывала свежая рыба.

Однажды осенью он встретил у реки женщину в военной форме. Это была медицинская сестра, бежавшая из плена. Две недели она прожила с Петей в его норе. Она починила его одежду, заготовила немного пищи. Потом она ушла, чтобы перебраться на советскую сторону, а Петя остался.

— Живи, — на прощанье сказала ему сестра. — Я вернусь. Мы все вернемся.

Потом он увидел девушку из десантного отряда. Она пробыла с Петей совсем недолго и ушла, также сказав напоследок, что вернется.

И так каждый раз люди уходили, а Петя оставался один. А над сгоревшим селом пролетали самолеты с красными звездами на крыльях; они все чаще и чаще пронеслись в воздухе, точно птицы, предвещающие весну.

III

В марте в сожженное село пришла измученная женщина. Она еле двигалась от усталости. Два с половиной года немецкой неволи ее не покидала надежда, что она вернется в родное село и найдет своего сына. И вот она вернулась. На месте, где стояло село Висючий Бор, теперь было пепелище. Она опустила на снег котомку.

В каменных развалинах кооператива послышался шорох, и из-под обломков крыши вылез мальчик в несусветном рванье. Голова его была повязана бабьим платком с обгоревшей бахромой и рыжими палеными пятнами. Из-под рваного ватника выглядывали штаны из латаной мешковины. На одной ноге был надет валенок, перевязанный тряпьем и кусками телефонного провода, на другой — рваный башмак, из которого торчали газетные клочья. Это был Петя. И женщина узнала в нем сына, с которым рассталась два с половиной года назад.

Голосом, в котором были надежда и неуверенность, женщина произнесла:

— Петя... — А потом закричала: — Петя! Петенька!

Она пошла вперед, не видя ничего и не соображая ничего. Слезы полились из ее глаз, а она только твердила как в беспамятстве.

— Петя! Петенька!

Мальчик оглянулся, посмотрел на женщину и вдруг бросился прочь, подпрыгивая и оступаясь на левую ногу, как подбитый, выпавший из гнезда птенец. Он не хотел, чтобы повторилось прежнее, чтобы опять кто-нибудь с ним пожил, а потом собрался в дорогу. Он устал ждать.

По черным кучам и рытвинам, спотыкаясь о сизые обручи и обгорелые кирпичи, мать бежала за мальчиком, а он с невнятными тонкими выкриками мчался прочь.

У крайнего пепелища он зацепился ногой за телефонный провод, упал, и тогда женщина его нагнала.

— Петя, — сказала она. — Петенька...

У нее не было других слов, а мальчик не знал, что ответить.

IV

Прошло много дней, а мальчик не признавал свою мать. Память его хранила другой образ — молодой и неизмученной женщины, и он продолжал ждать ту, которой не было на свете.

Юкачева смастерила на том месте, где стоял их дом, шалаш из жердей, кусков кровельного железа и соломы. Фронт в это время уже откатился на запад. Как-то один проезжий, досужая голова, переночевав у Юкачевых, сказал, что в шалаше тесно, пора строить дом. Среди ездовых, шоферов и прочего военного народа попадались разные люди. Объявились два лесоруба — на рассвете они в лесу заготовили бревна. Плотники попались — возвели стены. А там кто-то печником назвался — он печку сложил. Маляр заночевал — двери выкрасил. И встал среди мертвой земли новый дом из белых бревен, не успевший потемнеть от дождей и солнца.

Петя по-прежнему не понимал, что мама его вернулась. Иногда Юкачева ловила на себе пристальный, испытующий взгляд сына, она спрашивала:

— Петя, что тебе?

Мальчик отвертывался и молчал, а как-то спросил:

— Ты кто?

— Это я, Петенька, неужели не узнаешь? Я, твоя мама, — ответила Юкачева и заплакала.

Петя молчал. Он не верил.

Однажды он спросил: скоро ли она уйдет?

— Куда? — не поняла его Юкачева. — Я никуда не уйду. Мы теперь всегда будем вместе.

— Уйдешь, — сказал мальчик. — Все уходят. А потом вернешься. Я буду ждать.

— Кого ты ждешь? — с тоской спрашивала Юкачева.

А мальчик все приглядывался к ней, точно сравнивал ее с кем-то. Когда Юкачева целовала его на ночь, он с тихим удивлением посматривал на нее. Может быть, эти проявления любви — простые и естественные — будили в его памяти забытые ощущения материнской ласки?

Из дальних лесов, из дремучей чащи возвращались уцелевшие жители Висючего Бора. Старушка однажды пришла. Это была Свешникова: старик приковылял — и это был дед Яков. Потом наступила осень, и как-то, когда Петя колот дрова, у дома остановился санитарный фургон. На землю спрыгнула женщина в шинели — и это была медицинская сестра.

— Петя, я вернулась! — закричала она, точно уезжала в город за покупками. — Дождался?

Потом в избу постучался летчик.

— Эй, Петя, ты здесь? Я вернулся! — закричал он. — Дождался?

Потом вернулась девушка из десантного отряда.

Все вернулись, кто уцелел, потому что обещали.

А Петя все-таки продолжал ждать.

И Юкачева не знала, как быть? Поймет ли когда-нибудь ее мальчик, что она с ним, что ждать больше некого?

Однажды Пете приснился сон. Его мама сидела у стола и вышивала рубашку. Он вскочил от испуга. В образе матери была та женщина, которая жила теперь с ним в доме. Петя посмотрел вокруг. В лунном свете белел новый некрашенный стол, белела бревенчатая стена, его рубашка на табурете. И мальчик вспомнил, что давно-давно мама вышила ему рубашку — тонкие синие крестики по вороту. Сейчас, во сне, эта женщина трудилась над такой же вышивкой. Он потянулся к рубашке на табурете и поднес ее к глазам. Крестиками, как в детстве, был вышит ее ворот. Сейчас в лунном свете они казались черной цепочкой. Так только мама могла вышивать.

Петя встал и на цыпочках подошел к спящей женщине. Он наклонился к ней и зашептал:

— Мама, мама, мама...

Любовь? А что это такое?

Неприятно было смотреть, как этот высокий, здоровенный детина в обвисшей зеленой куртке покорно склоняет свою могучую шею перед крикливой, кокетливой девчонкой. Возникало ощущение, что высокое мужское достоинство, — да что говорить о достоинстве, всю свободу мира! — отдает он этому тщеславному ничтожеству. Неужели так опустошительна любовная страсть? Кто бы подумал, что мужская верность может выглядеть столь унижительно!

В большом подмосковном санатории в тот зимний сезон среди отдыхающих было много привлекательных женщин. Большинство из них съехало сюда не столько для лечения, сколько поразвлечься, походить на лыжах. Они меняли туалеты, щеголяли в черных, красных, оранжевых брючках в обтяжку, веселились беспричинно, изнемогали от безделья. Одна была тихая, лукавая, гладко причесанная: в своем темно-синем лыжном костюме с капюшоном, отороченным белым мехом, она походила на моложавого, хитрого гнома, все знающего, все понимающего, способного все простить. Другая, некрасивая и вместе с тем соблазнительная, часто надевала платье с плиссированной юбкой, переливающейся всеми цветами радуги. Пышное оперение, а во взоре — тоска. Противоречивость в мыслях, поступках, обличье, — что может быть заманчивее? У третьей, рыжеватенькой, прежде всего бросалось в глаза игривая челка: она смотрела через нее, как через тюремную решетку: приди и спаси меня! Четвертая носила высокую прическу, старинные серебряные украшения, ее широко расставленные светлые глаза были невинны и доступны.

Отдыхала в санатории красавица киноактриса, милая и скромная, точно стесняющаяся своей известности. Два срока прожила жена знаменитого конструктора, не молодая, но эффектная; она не выходила из комнаты, прежде чем не покроет лицо тонким золотистым кремом, придающим коже таинственный коричневатый оттенок. На каникулы приваливали смешные, суматошные студентки: тоненькие, целомудренные девочки с косичками, толстушки-хохотушки, наполнявшие санаторий птичьим щебетом.

Очень славные девушки были среди обслуживающего персонала. Например, черненькая, с большущими глазами Надюша Ковалева из физиотерапевтического кабинета, — косички, перевязанные красными ленточками, торчали у нее в разные стороны, изогнутые, точно маленькие рожки. Или ее подруга, массажистка Клава, с которой вместе жили в санаторном общежитии в деревне Раменки, — коротко стриженная, узкобедрая, с мускулистыми руками и низким, почти мужским голосом.

Одни женщины уезжали, приезжали другие. Надюша Ковалева оставалась. И Клава оставалась.

А для этого детны в зеленой лыжной куртке не существовало никого, кроме никудышного бесенка с кукольной мордочкой, капризного и вздорного. Черт бы его взял, этого Виталия! На других женщин он просто не глядел.

У мужчин лечебная гимнастика не пользовалась успехом, а женщины — и молодые, и те, что постарше, — почти все сходились к Виталию по утрам в холодный физкультурный зал. Было даже что-то величественное, олимпийское в поразительной малоподвижности Виталия, в его отрешенности от мелкого мира гимнастических занятий. Было в нем что-то от красивого негра с плаката — толстые, чуть вывернутые губы, чуть сплюснутый нос, смуглота постоянного загара. Коротко стриженные курчавые волосы его открывали высокий лоб, лоб мыслителя и правдолюбца. И эта всепокоряющая снисходительность во взгляде! Эти вежливые, безразличные карие глаза! Он показывал упражнения с лентой, кое-как, точно снисходил с высоты своего величия, и пренебрежительно застыл, скрестив ноги у стола для пинг-понга, отодвинутого к стене. Тем не менее при всей отрешенности, вялости, неповоротливости, движения Виталия были изящны и пластичны. Еще больше он напоминал, когда вел урок

лечебной гимнастики, большого, сытого зверя, потягивающегося перед тем, как свернуться клубком в своем логове.

Изредка он начинал считать, чтобы не нарушался ритм: «И ра-аз, и два-а! И ра-аз, и два-а!..» Голос у него был противный, нудный, но женщины оживлялись, призывно загорались их разноцветные глаза. То одна, то другая просила умоляющим голосом: «Ах, Виталий! У меня не получается. Ну, покажите, покажите, как нужно делать. Ну, пожалуйста, я не понимаю!..» Он поправлял которую-нибудь из них, заставляя больше изогнуться или вытянуть руку, грубо, без стеснений, касаясь напряженного тела. И женщина покорялась ему безропотно, с наслаждением обмякая под его загорелыми, толстыми лапами, точно отдаваясь под его власть. Виталия и это оставляло безразличным, он притрагивался к ней так, словно касался дерева или камня.

Весь день его окружало призывно-любовное воркование, взволнованные возгласы:

— Когда откроется библиотека, Виталий?

— Скажите, Виталий, вы пойдете с нами на лыжную прогулку?

— Виталий, а Виталий, что сегодня в кино?

— Виталий, где взять мячик для пинг-понга?

— Где же вы, Виталий? У меня оборвалось лыжное крепление!

Где бы он ни появлялся, весь день то здесь, то там звучали, звенели, звали его нежные голоса: о Виталий!.. А он ходил среди благоухающего женского цветника, ко всему равнодушный, бесчувственный, снисходительно отвечал на вопросы, чинил лыжные крепления, беспрекословно выполнял просьбы и капризы, одинаково внимательный ко всем, одинаково предупредительный и одинаково ко всем холодный.

Помимо занятий лечебной гимнастикой, Виталий следил за исправностью спортивного инвентаря, приклеивал сбитые наклейки на бильярдных киях и после мертвого часа открывал библиотеку в жарко натопленном подвальном помещении, где от котельной пахло нагретым железом и углем. Жил он в главном корпусе санатория, в комнатенке на лестничной клетке под чердаком. Хотя бы раз он сделал попытку позвать к себе какую-нибудь прелестницу. Куда там! Он выполнял свои обязанности культурника на высоком моральном уровне. Никого из

женщин не существовало для Виталия, кроме его Мусеньки! Посмотришь на такого, и на душе становится немного скучно, немного досадно, немного смешно. Что касается женщин, то великолепное безразличие Виталия ко всем житейским соблазнам еще сильнее их подзадоривало.

Иногда он совершал вылазку с кавалькадой пестрых лыжниц. Но и тогда он был молчалив, спокойно-предупредителен, бесстрастен. В сущности, до отдыхающих ему и дела не было. Если его спрашивали, он показывал, как делается поворот «телемарк», как подниматься по склону «елочкой». Встав на лыжи, защелкнув замки креплений, с неожиданной легкостью он несколько раз подпрыгивал на месте, пробуя, как сидят лыжи, и отряхивая налипший снег; затем уходил вперед легким, широким шагом. Ему кричали: «Виталий, куда вы?!» Он не отвечал. Вскоре все же он возвращался, протоптав лыжную для своих спутниц. Ни слова не говоря, он поворачивался в рыхлом снегу, энергично вышлепывая лыжами многолучевую звезду, или проделывал поворот в два приема, широкими и сильными движениями высоко поднимая и поворачивая на сто восемьдесят градусов сперва одну ногу, потом другую. Он пропускал затем мимо себя всю команду и снова, обогнав ее, уносился вперед.

Мир был огромен, прекрасен: уходили вдаль бесконечные снежные холмы, заиндевелые рощи и перелески сверкали и туманились на солнце. Вокруг резвились, переговаривались, смеялись разрумянившиеся лыжницы. Он ничего не замечал: ни зимних чудес, ни женщин. Его не привлекали превосходные итальянские кинокартины из старых запасов, которые «крутили» в санатории по вечерам, он почти ничего не читал, хотя заведовал неплохой санаторской библиотекой.

Часто он уходил на лыжах в одиночку — во время мертвого часа или вечером, во тьме, когда в большом зале шел киносеанс. О чем он думал там, один в лесу, что побуждало его к таким прогулкам?

Не раз то одна, то другая лыжница говорила ему:

— Виталий, почему никогда не позовете на вашу таинственную прогулку?

— Какая там прогулка! Тьма кромешная, чего доброго — глаза веткой вехлестнет, не оберешься беды, — отвечал он вежливо и равнодушно.

С притаенным волнением, томительно и смиренно, он ждал одного — субботнего вечера, когда из Москвы приезжала его любовь, его бесенок, его крикливая, вульгарная пичужка.

По субботам, с самого утра, он наливался буйной, жадной радостью, озорством, каким-то терпким соком нетерпения и весь день не находил себе покоя.

До железнодорожной станции было двенадцать километров, и если что-нибудь его задерживало и он не мог поехать к поезду, то обязательно выходил на шоссе, и там, на повороте к санаторию, встречал автобус.

Случалось, она задерживалась и не приезжала с тем выездом, которого он ждал. Тогда Виталий стоял у развилки, в темноте, среди снежных сугробов, пропуская районные автобусы в надежде на следующий поезд. Районные автобусы проходили здесь каждые тридцать — сорок минут. Поздним вечером, засыпанный снегом, он возвращался в санаторий, и вид у него был, как у обиженной собаки.

Она приезжала утром в воскресенье, встречать ее было недосуг, и Виталий успевал только выскочить минут за пять до прихода автобуса со станции. В неизменной зеленой куртке, в темно-серых узких лыжных штанах, заправленных в ботинки на толстой подошве с медными скобами, он топтался на снегу перед главным корпусом, пышущий здоровьем, необычно оживленный, с блестящими измученными глазами.

Высокомерная, едва замечающая Виталия, она как ни в чем не бывало выпрыгивала из автобуса, и он вел ее к себе в берлогу, чуть дыша от счастья и благодарности. А без Виталия на эту пигалицу с кудряшками перманента не каждый бы и посмотрел. Рядом с ним и она казалась подходящей парой.

При рождении ее нарекли вычурным именем — Электрола. Папа у нее был старый общественник, один из первых членов «Союза воинствующих безбожников», неудачник, любивший все возвышенное и необычное. А она слышать своего имени не хотела, и все звали ее Эля. Виталий называл ее Мусенькой, потому что более нежного имени он не знал.

И когда по прошествии некоторого времени Виталий появлялся с ней на люди, он весь сиял, сверкал, светился. Куда девались его унылость, вялость, равнодушие!

Он заводил танцы под магнитофон, затевал детские игры, придумывал шарады. Дым коромыслом поднимался в санатории.

Все воскресенье Виталий приплясывал вокруг Мусеньки, из кожи лез — придумывал для нее развлечения и забавы, острил как умел, чтобы рассмешить ее. Можно было подумать: неделю он накапливал свою энергию, чтобы теперь растратить ее за один день. А она платила ему жесточайшим пренебрежением, измывалась над ним как хотела, унижала его и дразнила. Ей словно нравилось причинять Виталию боль, смеяться над ним.

— Виталий, — командовала она капризным голосом, в котором звучали и непреклонность, и бессердечие, — принеси шарф, мне холодно!

— Одна нога здесь, другая там! — с радостью откликнулся Виталий и как мальчик бежал в свою комнатенку под крышу выполнять ее приказание.

— Не тот, я хотела розовый! — издевалась она, когда Виталий возвращался.

Подпрыгивая и пританцовывая, чтобы было веселей, мчался он за другим шарфом. И шарфы. и вязаные кофточки ее были безвкусны, каких-то болезненных, анилиновых цветов. И сама Мусенька была безвкусной и словно анилиновой, как цвета ее кофточек.

Хоть бы раз посмотрела она на Виталия не то что с любовью — с нежностью! Нет, только ледяной, уничтожающий взгляд, только гримаса «и видеть тебя не хочу!», точно она досадовала, что приехала сюда, оказала ему такую милость.

Надюша Ковалева до слез, до сердечной боли расстраивалась, видя неслыханное это тиранство. Виталий нравился ей, нравился давно, но совсем не так, как другим женщинам, — по-настоящему, серьезно. И столько у нее в сердце накопилось нежности для него! Об этом даже Клаве не скажешь, и она только жаловалась ей, украдкой смахивая слезы:

— Форменное безобразие какое-то! Так измываться над человеком!

И Клава тоже обижалась на Виталия. Подолгу сидели они, обнявшись, у себя в общежитии и на чем свет стоит честили Виталиеву Мусеньку.

Однажды Надюша прибежала в Раменки потрясенная. Она дежурила в субботу и поздно вечером, когда

весь дом уже спал, зашла в маленькую гостиную перед бильярдной, чтобы погасить свет. В полутемной гостиной Виталий стоял на коленях перед чертовой Мусенькой, целовал ей руки, а она сварливо выговаривала ему: «Ну что ты талдычишь: любовь, любовь! А что это такое, хотела бы я знать?!»

— Ну а он? — прижимая руки к груди и замирая от ужаса, низким, почти мужским голосом спросила Клава.

— Жуткое дело, он поднял ее на руки и ну кружиться по комнате, — гневно ответила Надюша и тяжело вздохнула.

Она не понимала и не хотела понимать, что и так может выглядеть любовь — унижительная, полная страсти самопожертвования. Не понимала этого и Клава. И девушкам казалось, что однажды они дождутся конца: настанет день, когда у Виталия лопнет терпение и он выгонит ее вон.

Между тем наступил апрель, и погода резко переломилась: в тени деревьев еще держался мороз, шесть — восемь градусов, а на солнце припекало, капало с ветвей, вокруг черных влажных стволов вытаивали глубокие воронки, запорошенные шелухой коры, которую растолкли дятлы, и лузгой от шишек — беличьими объедками. Деревья в лесу запорошило снегом снизу доверху, и один санаторский острослов сказал, что они словно из парикмахерской: их намылили, но не успели побрить. От слабого ветерка, которого как следует и не почувствуешь, снег слетал с деревьев, как от выстрела, как от взрыва, точно в их тесноту влетала пуля или снаряд.

Зима доживала последние дни. Вчера и позавчера было холодно стоять на месте во время лыжной прогулки. В ходьбе люди быстро разогревались. Теперь солнце припекало так сильно, что прохладней стало идти на лыжах — обдувал ветерок и становилось жарко, как в нагретом помещении, когда задержишься под укрытием деревьев. В один день буйно зарыжела, точно охваченная прозрачным огнем, молодая поросль в лесу. На темных елках ярко зазеленела хвоя. Ветви вербы покрылись каплями — не поймешь, где капля, а где еще не распустившаяся, набухшая сережка. Когда Виталий в субботу вечером вышел встречать Мусеньку, шоссе было черное — асфальт освободился от снега.

В тот вечер Мусенька не приехала. Не приехала она и в воскресенье. Всю неделю Виталий ходил сам не свой. Что случилось? Заболела она? У Мусеньки не было телефона, и он все надеялся, что она напишет ему, или телеграфирует, или приедет вдруг среди недели. Но Мусенька не приезжала.

В понедельник утром Виталий отпросился у директора и чуть свет ринулся в Москву. К вечеру он вернулся в санаторий отяжелевший, с темным лицом, с глазами, полными отчаяния. Надюша кинулась к нему, но он ничего не стал говорить. Не захотел он разговаривать и с Клавой. Молча ушел Виталий к себе наверх.

И пошла неделя за неделей злой, безысходной тоски. Снег сошел, прекратились лыжные вылазки, но Виталий каждый вечер уходил из санатория и допоздна бродил неизвестно где. Под страшным секретом Клава призналась Надюше Ковалевой, что она собственными ушами слышала, как, забравшись в лесную чащу, он воет в темноте, как волк.

— Не может быть! — вскричала Надюша и схватила Клаву за руку.

— Чтоб мне так жить, — сказала Клава низким грудным голосом. — Я чуть с ума не сошла!

И тогда Надюша заплакала не таясь.

— Да черт с ней, — сквозь слезы сказала она. — Чем так мучиться человеку, уж лучше бы приезжала!

Миновал месяц или полтора, и однажды в чудесное летнее утро Виталий вдруг снова ожил, засиял — он получил известие, что в субботу приезжает его Мусенька.

И она приехала, точно между ними ничего не случилось, точно она ни в чем не виновата. И все пошло по-прежнему. Опять целую неделю по санаторию неслись томные призывы: о Виталий! Он откликался вежливо, снисходительно и равнодушно. С любезностью внимательного исполнителя он организовывал игру в волейбол или катание на лодках, а глаза оставались погасшими и пустыми.

Снова он загорался и начинал сиять по субботам. Что там обиды, измены, унижения! Бог с ним, с женским вероломством! Его всего переполняло чувство, что опять с ним его страсть, его Мусенька, а больше ему ничего не надо было. И никакого дела нет ему до того, что другой бы и не взглянул на его сокровище!

Не за ним ли с консерваторских лет утвердилась на-смешливая слава, что утро он начинает с испуганного речитатива: «Нет голоса! Н-нет голоса! Н-н-е-ет голоса!» Он разжигал на кухне примус, ставил чайник, брился, мылся, чистил зубы. «Н-н-е-ет голоса!» — уныло раска-тывался по квартире тревожный речитатив. К тому вре-мени, когда он заканчивал утренний туалет и на примусе закипал чайник, сонная одурь проходила, настроение повышалось, он успевал прочистить горло и во всю широту коммунального коридора гремела наконец тор-жествующая рулада: «Есть г-голос!»

Пусть теперь злословят о нем недруги. Он проникся ответственностью за свое сокровище. Ибо уже в самом начале высоким консерваторским авторитетом сказано было: его голос — дар божий!

Конечно, не так все было просто. Были годы работы, ожиданий, надежд. Он кончил консерваторию с отличием, победил на Всесоюзном конкурсе певцов, и сама Неж-данова его благословила, все помнят тот исторический поцелуй на сцене Большого зала. Но ни это, ни поклон-ницы, неистовые поклонницы с их ужасными подноше-ниями в виде надушенных платочков, галстуков и цветов не вскружили голову Евгению Бодеско. Он не переставал работать над собой. Ежедневными сольфеджио, вока-лизациями, многочасовыми упражнениями он не уставал шлифовать свое мастерство. Ничего не скажешь, он до-стиг поистине высокого совершенства, и постепенно его голос, его дар, ниспосланный свыше, стал существовать как бы сам по себе, независимо от его личности.

И вот тогда непререкаемые законы жизни привели к тому, что в центре внимания Евгения Петровича встала постоянная забота о своем здоровье. Ибо голос его был общественным достоянием, он нужен был народу. А что необходимо для процветания таланта? По меньшей мере, два условия: упорная работа над собой и физическая выносливость.

Речь не идет о регулярном посещении ларинголога — для певца это профессиональная необходимость. Специальные дыхательные упражнения, сырые яйца или что там еще — и об этом ничего не скажешь. Но он стал мнительным, как старая бабка. Теперь трагедией сделалась для него пустячная ангина, случайная головная боль, безобидное расстройство желудка. Все внушало ему теперь опасения. Он боялся сквозняка, боялся промочить ноги, заразиться гриппом. Всегда в боковом кармане лежали у него аккуратно нарезанные квадратики парафинированной бумаги — братья за дверные ручки, чтобы не подцепить какой-нибудь инфекции.

Он купил аппарат для измерения кровяного давления, в кабинете соорудил шведскую стенку для гимнастики.

К режиму, в сущности, нужно только привыкнуть. Ибо чем разболтанность лучше собранности? С приятным сознанием, что он выполняет долг перед обществом, он добровольно обрек себя на множество ограничений: не кури, не ешь лишнего, не пей, воздержись от амурных походов, рано ложись спать, рано вставай. Его не тяготило подневольное существование между работой и режимом, между славой и заботой о своем самочувствии. Ибо этого требовало от него служение искусству!

Смейтесь не смейтесь, а сон с открытой форточкой — какая бы ни была погода. Утренняя гимнастика, холодный душ, силовое обтирание мохнатым полотенцем. Три раза в неделю теннис в Лужниках.

Перед концертом, перед консерваторскими занятиями, где мы, теперь не студенты, а профессора, часть дороги мы всегда проходим пешком. Если хотите, это и эмоциональная зарядка — пройтись по Ленинскому проспекту. Пусть дома его однообразны, но он просторен, как Елисейские поля, он превосходно вентилируется, и потом, — он же строился у нас на глазах, какой-нибудь десяток лет назад здесь проходила Старая Калужская дорога, о которой в песне поется и по которой мы ездили в Узкое!

Мы сворачиваем затем на Университетский проспект, затем на двухярусный мост, отсюда открывается такая широкая панорама всей Москвы. На Комсомольском проспекте мы можем взять такси, если сегодня Иван Спиридонович на государственной службе, — шофер у нас через день. И уж, во всяком случае, Иван ли Спиридонович или иная машина отвозит нас домой, — кварталов за пять до дома остановим водителя, высадимся, пусть он для порядка едет следом, а мы опять-таки пройдем пешком: японская заповедь — не меньше десяти тысяч шагов в день. Прекрасное правило, прекрасное!

И никаких волнений, никаких беспокойств, боже упаси. Кроме творческих, конечно. Ибо творческие волнения — это мобилизация души. А научиться избегать семейных ссор, отделяться от житейских неприятностей — дело не простое. Например, в квартире проведен ремонт. Жена говорит: «Теперь все. Хватит нам до конца жизни». Неделю он не разговаривал с ней. Ибо он ненавидел самую мысль о неизбежном конце, даже одно напоминание. И она это хорошо знала.

Конечно, ничего не поделаешь, всякие раздражители и нас окружают, как простых смертных. Какие-то нелады у сына на службе — он инженер. Или рецензия в газете не той тональности, которую мы ждали и которая была бы справедлива. А то и вовсе молчок, хотя концерт был выдающийся, каждый скажет. Неужели там остались недовольны? Или неопределенность в отделе культуры с ответственной заграничной поездкой. Или жена товарища попала в автомобильную катастрофу, сплошной ужас, машина загорелась, дверцы заклинило... Нет, нет, об этом и слушать невозможно. К чему нам натуралистические подробности?

Нет, голубчики, смейтесь и веселитесь, а лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, уж это как вы хотите! Нужно жить без умных разговоров перед сном, раздумий о политике, о собственной судьбе. Мы обет дали — полностью принадлежать высокому искусству. А знаете, в конце концов наш дар — это не просто государственное достояние, это даже и валюта.

Мы всем довольны и собой также. У нас хороший жизненный тонус. Превосходная мышечная система. Пощупайте, жира — ни грамма. В идеальном состоянии наши сосуды. Никаких сердечных перебоев. Отличный сон

со сладкими сновидениями. Аппетит отменный, но, как балерина, черт ее возьми, мы всегда встаем из-за стола с чувством, что не наелись досыта. Режим, режим, режим! К этому нужно только привыкнуть.

Был сольный концерт в семейном, в сущности, кругу, ибо нужно поддерживать контакты с друзьями из смежных областей культуры. Евгений Петрович в те месяцы жутко был загружен, концерты наползали один на другой, в том числе шефские, — им он придавал большое значение. И каждый день работа с аккомпаниатором, ибо готовилась новая программа, — летом предстояло заграничное турне. Все же он, колеблясь, дал согласие, когда ему позвонил директор известного дома творческой интеллигенции. И не потому, что Илья Михайлович — старый приятель, и не гонорар заставил его смириться, Евгений Петрович Бодеско был истинный артист, народный певец, и слава народная была для него дороже денег. Да и что скрывать, любо ему было петь, видя вокруг себя известные лица. После концерта следует ждать со вкусом приготовленный ужин, приятных собеседников за столом, тосты, тосты, блистательных острословов вокруг, и можно будет позволить себе чуточку коньячку, и женщины в том кругу бывают отменные. Заметьте себе, жена тут не помеха. На этот счет с ней полная договоренность, она знает не хуже нас, — небольшой зигзаг содействует нервной разрядке.

Зал был переполнен. Сидели даже на сцене, за роялем. Он никогда не возражал против тесного общения с народом, с избранной публикой. Напротив, он любил волнующую атмосферу непринужденности, интимный цыганский таборный дух. Так он и в Лондоне однажды выступал, и в Париже на посольском приеме. Опытным администраторам его вкус был известен.

Председатель правления, академик, вице-президент общества заграничных связей представил Евгения Петровича под привычный и сладостный аплодисмент публики. В полуминутную паузу, когда председатель успокаивал зал поднятой рукой, собираясь еще что-то сказать, из рядов, стоящих на сцене, незнакомый женский голос произнес негромко:

— Жека!

С ума сойти! Так звали его в глубоком детстве. Лишь самые старые друзья и близкие продолжали и поныне

называть его этим смешным именем. Но сколько их осталось?! Жека!.. Чтобы такое взбрело в голову!

Он посмотрел вбок, обвел глазами десятка полтора лиц, повернутых в его сторону, но не понял, кто его окликнул. Однако окликнули его, в этом не было сомнений.

Новый взрыв аплодисментов, аккомпаниатор за роялем развернул нотную тетрадь. Кланаясь милой публике, Евгений Петрович еще раз глянул вбок, на близкие ряды лиц.

Почти беззвучно изможденная седая женщина, то ли во втором ряду на сцене, то ли в третьем, чуть наклонясь вперед, одними губами повторила его детское имя: «Жека!» Она пристально глядела на него черными, оживленными и в то же время встревоженными глазами.

В ту же секунду с удивлением он понял, кто она такая. Понял, а не узнал. Догадался, потому что с ней сидел ее второй муж, с ним когда-то его познакомили. Ужасающий, сокрушительный случай! Вот уж поистине *temento mori*. Как можно так возмутительно, безобразно постареть! Болезнь, тюрьма? Кожа у нее отвисла и сморщилась под подбородком, как глоточный мешок у голодного пеликана. Если бы не ее спутник, ее второй муж, серенький мужичишко с неброским лицом и аккуратненьким пробором, такой маленький, низкорослый, что это видно было даже когда он сидел, Евгений Петрович никогда бы ее не вспомнил. Ничего из себя не представляющий рядовой инженер, а может быть, математик или физик. Компанейский шутник и застольный остряк, в меру пошлый и обтекаемый, приходящийся ей чуть ли не троюродным братом. Настолько неброским было его лицо, что потому именно оно и запало в памяти. «А я? — с внезапным ужасом подумал о себе Евгений Петрович. — Неужели и я так изменился?» Сколько прошло времени? Ужас, ужас, прошло почти тридцать лет, с ума сойти!

Ах, как он любил когда-то эту женщину! Он любил ее безнадежно, безответно, безропотно. Он боялся к ней притронуться, так он любил ее — ее смуглое, удлиненное лицо с широко расставленными огромными черными глазами, полными таинственного блеска, ее безукоризненно белые, ровнехонькие зубы за влажными губами, когда

она смеялась, ее тонкую девичью шею, с невиданной плавностью переходящую в хрупкие девичьи плечи.

В сущности, все продолжалось одно лето: светлые вечера в Александровском саду, пречистенькие арбатские переулки, укромные скамейки под столетними липами, подсвеченными волшебными огнями, вечерние запахи маттиолы, тонкие и вызывающие, кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади, где они пересмотрели несколько картин. Парк культуры и отдыха — он тогда еще, кажется, не назывался именем М. Горького. Однажды они взяли лодку на пристани в парке. Какая она была необычайная, эта девочка, в тот вечер в белом платье с широким красным поясом на фоне черной блестящей воды! Только дважды, когда они менялись местами, чтобы она могла погрести, он коснулся ее теплых голых локтей, и его как током ударило от любви и блаженства. Они не заметили, как погасли огни в парке, погасли они на Хамовнической набережной, теперь она называется Фрунзенской, часы у него остановились, и они приплыли обратно в четвертом часу ночи. Их даже не отругали за позднее возвращение, когда, привязав кое-как у причала лодку, они пришли в комендатуру, чтобы расплатиться и получить обратно документы, оставленные в залог, настолько необычно было их запоздание. Дежурный, наверно, был просто-напросто рад, что эта парочка не утонула и утром не придется шарить по всей Москве-реке. За весь вечер он ни разу ее не поцеловал, болван! Любви в те годы у него сопутствовала робость.

Вспомнить, как они были молоды тогда! Весной он только кончил девятилетку, готовился к поступлению в МВТУ и очень бы смеялся, если бы ему предсказали вокальную карьеру. Она была старше его и кончила школу на два года раньше.

Осенью она вышла замуж за его товарища, он тоже был старше и учился уже на юридическом. Она тоже поступила на юридический.

У них в доме он впервые напился, потому что тогда ему не приходило в голову, что нужно заботиться о своем здоровье. Может быть, это случилось на их свадьбе? Ничего теперь не осталось в памяти, кроме ее лица и состояния опьянения — он испытывал его впервые. Ее лицо сияло от счастья, и он пил, пил, пил, пока в глазах у него не поползла тяжкая черная туча и он начисто не

перестал различать отдельные голоса. В те годы он не боялся ни сквозняков, ни промочить ноги, ни дать сдачи, если к тебе кто-нибудь полезет, но даже тогда он не терял над собой контроля. И когда черная туча скрыла от него сияющее лицо чужой невесты, он нашел в себе силы подняться и уйти, чтобы не оконфузиться. Он шел по длинному коридору, как в темной трубе, ничего не видя перед собой во мраке черной тучи, и качался от стены к стене, растопырив руки, чтобы не свалиться на пол.

Варя, Варенька, Варвара, — совсем простое имя, а каким оно казалось ему чудесным, черт его возьми совсем!

Он рано женился, и в те дни, когда жена его должна была рожать, так неудержимо вдруг ему захотелось увидеть Вареньку, прикоснуться к ней, о чем-нибудь поговорить, что он, точно с ума сошел, наспех придумал какой-то предлог, болезнь престарелой тетки, что ли, которой у него не существовало, наскреб немного денег и ринулся в Ленинград, куда после окончания юридического факультета, поменяв московскую комнату, перебралась Варенька со своим Мишей.

Он очень каялся и проклинал самого себя, но не было сил удержаться от поездки. Вот мерзавец и подлец, не нашел другого времени! Он мог проклипать себя как угодно, но кто знает, может быть, как раз это была в его жизни последняя вспышка неупокоенной человеческой страсти.

Дешевого номера в гостинице он не достал, и Варенька сказала: «Какие могут быть разговоры? Будешь жить у нас. Две комнаты, отлично поместимся». Миша, конечно, возражать не стал.

Несколько дней прошли для Бодеско в состоянии полувменяемости. Он видел Вареньку каждый день в домашней обстановке, в трогательном халатике, который был ей тесноват, может, сел от стирки, и это ужасно его умиляло. Он любовался ее натуральной свежестью, ясностью ее неподкрашенных глаз, невинностью неподмазанных губ, ее трогательно припухшим после сна ненапудренным лицом. Каждый день он провожал ее к трамвайной остановке, когда она ехала на службу в юридическую консультацию, а затем сам отправлялся по делам — ему приходилось их придумывать, потому что настоящих дел в Ленинграде у него никаких не было.

Когда они вечерами укладывались спать, — он в проходной комнате, а они там, у себя, он слышал любовные воркования Вареньки и Миши, шепоты и вздохи и долго не мог заснуть.

Между тем, он и сам не подозревал, самозащитный механизм, дарованный ему природой вместе с лирическим тенором прекрасного серебристого тембра со свободным верхним регистром, уже начал бесшумно работать в его душе.

И хотя каждый вечер они проводили вместе, — он, она и муж ее Миша, и чуть ли не каждый вечер по случаю его приезда к ним приходили гости, и они танцевали под патефон, играли в игры школьных лет, дурачились, и он все время мог ее видеть, сидеть рядом с ней, слышать ее голос, тем не менее защитный механизм, работая исподтишка, набирал силу.

Но как-то раз во время танцев он, сорвавшись, неожиданно для себя стал целовать ее при всем честном народе. Все были навеселе, все были молоды, беспечны, никто, кроме него самого и кроме нее, вероятно, не придали этому взрыву никакого значения. Даже ее муж Миша.

Утром он пошел провожать Вареньку. Издали она увидела подходящий трамвай. Она наскоро сказала: «До вечера, Жека!» — и побежала к остановке. Святой инстинкт самосохранения был наготове. Она побежала, споткнулась и упала. Прежде чем он успел ей помочь, она встала сама, оглянулась, криво улыбаясь, потому что, видимо, было больно, и побежала дальше. Но дело было сделано. Самозащитный механизм сработал тут с безукоризненной точностью гильотины. Один удар, и он сразу прозрел. Любовный вздор отсекло от него, как голову казненного. Ибо дальше был путь к семейной катастрофе. Господи, чем Варенька его обворожила? Она неуклюжа, как такса. У нее толстые, короткие ноги, низкие бедра, а лучше сказать — таз. Как он раньше ничего этого не видел? Она даже бегать как следует не умеет!

Сославшись на срочный вызов, он взял свой чемоданчик и с первым скорым поездом отбыл из Ленинграда. На другой день после приезда он отвез жену в родильный дом, и она родила ему здоровяка сына.

Прославленный певец Евгений Петрович Бодеско вспомнил все это в тот миг, когда, обведя глазами пуб-

лику на сцене, он узнал второго мужа Вареньки, — о том, что она вышла за него, ему давным-давно было известно. И уже догадавшись, кто его окликает, и вспомнив все, испуганный происшедшими с ней переменами, почти оглушенный, — нет, подумать, только подумать, у нее и голос совершенно переменялся, ссохшаяся, сморщенная старуха! — он продолжал от смущения делать вид, что не разобрал, кто его зовет.

И пока председатель говорил общие слова, какие в торжественных случаях приходилось ему, наверно, говорить сотни раз, она спросила, наклонившись вперед:

— Не узнаете меня?

Теперь ему нестерпимо стыдно было признаться, что он сразу не узнал ее. И он ответил тихо:

— Нет.

— Не помните Варю? — настаивала она, это древняя старуха.

— Ах! — тогда сказал он, подозревая, что глаза его выдают. — Ну как же, как же! Сколько лет прошло. Здравствуйте. — Он не решился назвать ее по имени.

Акомпаниатор начал свою партию, и Евгений Петрович запел «То было раннею весной...».

Пел он плохо. Он сам чувствовал, что плохо поет. Все мысли его были заняты неожиданной встречей. Разве можно быть такой старой, изможденной, седой?.. Какие огромные у нее были глаза, какой удивительной смуглота нежной кожи, с какой непередаваемой плавностью ее шея переходила в хрупкие плечи.

Он пел и не чувствовал своего голоса. Он ждал, что вот-вот наступит обычный подъем. Ничего не получалось. Господи, сможет ли он выдержать до конца? Он заметил тревожные глаза жены, сидящей у выхода, заметил брошенный на него быстро обеспокоенный взгляд аккомпаниатора.

Если она так постарела, значит, не за горами и наш срок. Знакомые говорят: боже, вы совсем не меняетесь! Жалкие лицемеры! Вон там, за нашим плечом, за роялем — живой отсчет времени. Ну, пусть она старше на год-полтора, но и он стар. Ужасно стар, и не спасут его от старости никакие ухищрения, японские заповеди, шведская стенка... У него болело сердце, трудно было петь, а публика-дура аплодировала, требовала бисировать, выходила из себя.

На ужин он не остался, сославшись на нездоровье. Жена дала ему таблетку валидола, затем элениум, затем накапала Зеленина. Она всегда носила с собой необходимый набор лекарств. Состояние его не улучшалось. Черные мысли одолевали его.

Приятно и грустно вспомнить молодость, раннюю, может быть, первую любовь. Но сейчас его мучило ощущение, что он заглянул в то, что его ждет, в свою старость, в свой смертный час. К этому он не был подготовлен.

Ничего особенного не случилось

В метро на Арбатской площади я встретил недавно Марочкина, бывшего редактора армейской газеты «Вперед на врага», и он не узнал меня или сделал вид, что не узнает. Ничего не могу сказать об этом, может быть, и в самом деле он меня не узнал, мы были знакомы недолго, месяца три, не больше, так как вскоре меня взяли во фронтовую газету, но я-то узнал его сразу. Узнал и остановил — разве это не интересное занятие узнавать, что случилось по прошествии времени с человеком? Он не очень изменился за прошедшие почти двадцать пять лет. Да, черт возьми, почти четверть века, ничего себе, добрый срок! Он совсем не растолстел, почти не обрюзг и, скорее, не постарел, а как бы обветрился, что ли. Так же, как двадцать с лишним лет назад, он выглядит подтянутым, со скучной строгостью во взоре, такое же мужественно-красное было у него лицо, точно малость потертый молитвенник в красном сафьяновом переплете, — мы нашли такой в бункере, покинутом немцами.

Деваться Марочкину было некуда, он сделал удивленное, потом обрадованное лицо, и пошло с ходу: «Сколько лет, сколько зим», «Как живется-можется», «Где этот, где тот...».

— Помнишь майора Кациса? Ну, кличка у него была — «Конь». Кацис опять наврал. Ну заведующий отделом писем? — спросил Марочкин.

— Помню майора Кациса.

— Умер в прошлом году от инфаркта. А Лазарева помнишь? Работает в Курском обкоме чуть ли не вторым секретарем. А как думаешь, чем теперь занимается Рыбка? Ну, наш начальник издательства армейской газе-

ты. Нашел свое место в жизни. Заведует отделом регулирования уличного движения. Главный орудовец в районе...

— Ну, а вы что подделываете? — спросил я, по старой памяти называя его на «вы».

— Работы, брат, невпроворот. В академии педагогических наук заправляю. Профессор не профессор, а считай, без пяти минут член-корреспондент, вот, брат, как, — не торопясь, ответил он со снисходительной усмешкой.

Так я узнал, что бывший редактор армейской газеты майор Марочкин занят теперь вопросами образования и воспитания, а наш издатель Рыбка регулирует уличное движение.

А я по-прежнему страдаю, мучаюсь, что-то пишу, и нет на душе покоя. Пусть так положено мне по профессии, но что я, приговорен к проклятой неуверенности в себе? В чем причины постоянных метаний, точно я все еще мальчишка? Кончаешь новую вещь и каждый раз, какой бы она ни была незначительной, словно останавливаешься перед стеной: а что будет дальше? Любой человек, пусть совсем молодой, на два, на три десятка лет моложе тебя, если он занимает какой бы то ни было пост, даже самый никудышный, держится солидно, уверенно. А ты мечешься, сомневаешься в каждом написанном тобой слове!..

С возрастом, а проще сказать, к старости, человек все больше склоняется писать притчи. Вероятно поэтому я и принялся за этот рассказ. И пусть простит меня читатель за то, что элемент назидательности в нем будет сильнее иронии, а тем более — сарказма. Это притча, ничего тут не поделаешь.

В памяти всей редакции сохранился разговор, происшедший в поезде, когда газету перебрасывали с юга на Северо-Западный фронт. Это было еще до моего появления в редакции. Они проезжали тогда железнодорожную станцию Ясная Поляна, и кто-то из сотрудников сказал, выглянув наружу:

— Здесь Анна Каренина бросилась под поезд.

— Точно? — строго спросил Рыбка.

— Нет, немного дальше, — ответили ему.

Впервые я увидел Рыбку возле редакционных землянок уже на Северо-Западном фронте. Моложавый, со щегольскими усиками, без шинели, в гимнастерке, которая

на редкость хорошо сидела на нем, бравый старший лейтенант топтался на оледеневших кочках соломы, развеянной вокруг редакционных бункеров. В смысле бытового устройства армейским газетчикам в этот раз повезло: среди бесконечных болот редакции достался сухой холм возле пепелища деревни Новый брод. В немецких бункерах, отделанных березовыми пластинами, было сухо и тепло. Немцы бросили их в полной сохранности, выбитые отсюда за Ловать во время зимнего наступления.

Остались с зимы и груды немецкого мусора. Пестрые обертки сигарет, алюминиевые банки из-под норвежских сардин, глиняные кувшинчики из-под рома, использованные батарейки для карманных фонарей, разбитые пластмассовые коробки из-под каких-то химикатов, вазелина, кремов для бритья, пустые металлические чемоданчики, в которых хранились мины — по три мины в чемоданчике, плетеные корзинки от снарядов, чудовищные соломенные боты, которые надевали часовые на посту, обрывки газет и журналов, разбитые, искореженные велосипеды, бумажные мешочки с черными штампами фашистского орла и свастики. И бутылки! Бутылки, бутылки, бутылки! Бутылки из-под шампанского, из-под рейнского вина, из-под кетчуна с пластмассовыми крышечками. Больше всего попадалось бутылок из-под шампанского. Почти все они были французских марок, тяжелые, литые из крепкого темно-зеленого стекла.

Дел у нашего издателя в маленькой армейской газете было немало: все хозяйство лежало на нем. Он раздобывал запасные части и горючее для трофейного «Оппеля», следил за подвозом продуктов, вершил кухонные дела. Время от времени в воинские подразделения старший лейтенант Рыбка ездил. Бывал он и в командировках на переднем крае. И все же свободного времени оставалось много. Изнемогая, он совался и в редакционную работу.

Ни с того ни с сего он мог прицепиться вдруг к какому-нибудь автору по поводу того, что тот употребил в своей корреспонденции слово «давеча».

— Это не литературное выражение — ваше «давеча», — говорил Рыбка.

И мне самому пришлось как-то основательно поспорить с ним, когда он привязался ко мне, что нельзя писать «разведка — увлекательное дело» — на том осно-

вании, что разве артиллерия — не увлскательное дело? Или пехота?

— В уставе ничего не сказано, что разведка увлскательнее других воинских специальностей, — утверждал он.

Были у него томные, проникновенные глаза, холеные усики, как я уже сказал, и он очень любил перешивать в военторговской мастерской свое обмундирование — гимнастерку, бриджи, шинель.

Однако же мой рассказ начинается, собственно, с того случая, когда мы — то есть майор Марочкин, инструктор отдела партийной жизни Легостаев, наш издатель Рыбка и я — возвращались к себе в редакцию после двухдневного совещания в политуправлении фронта, посвященного армейской печати.

Перед тем как в конце дня после совещания садиться в редакционную полуторку, мы поспорили с редактором.

— Вы старше меня, и я вас очень уважаю, — сказал Марочкин, беря меня под руку. — Вы сядете в кабину.

Я возразил:

— Товарищ майор, вам по должности положено сидеть на почетном месте. Я даже звания не имею.

— Хорошо, тогда посадим в кабину самого молодого, — решил редактор в припадке благородства. — Старший лейтенант Легостаев, приказываю вам занять место рядом с водителем.

— Ну что вы, товарищ майор, даже как-то неудобно... — начал было Легостаев.

— Выполняйте приказание, — отчеканил редактор.

У всех нас было превосходное настроение. На совещании похвалили нашу газету, а два номера с моими крохотульками-очерками даже вывесили на стендах для всеобщего обозрения, и Марочкин, отдавая мне должное, держался со мной чрезвычайно любезно.

Бездорожье ранней весны сковало военные действия по всему фронту. После могучего зимнего удара, когда наши части прорвали немецкую оборону в треугольнике Демянск — Залучье — Лысково и отбросили противника за Ловать, велась перегруппировка сил, подтягивались резервы.

Усаживаясь в кузове машины, майор Марочкин рассудительно заметил:

— Кто-то из наших писателей хорошо сказал: «Над выгодой и невыгодой, над страданием и радостью есть высший закон — совесть».

Милостиво настроенный ко мне в тот день, Марочкин, как видно, великодушно намекал, что я прибыл в редакцию по велению совести, а не подчиняясь обязанности или мобилизации, как другие.

— Что-то не помню, — пробормотал я Марочкину в ответ. Задумчиво поглядел он на Валдайское озеро, еще затянутое свинцовым льдом, на далекий островок с угрюмыми монастырскими строениями и сказал снова:

— Конечный смысл нашего существования не в том, что сегодня же осуществится всеобщее благо на земле, восторжествует правда, любовь, справедливость. Важно, что человек верит: когда-нибудь обязательно будет. В этом утверждение нашего бытия — оптимистический взгляд на мир, очищающее действие на человека.

Не часто можно было от редактора услышать подобные признания. Видно, уже и тогда Марочкина беспокоили воспитательные проблемы.

Мы сидели в кузове грузовика, привалясь к стенке шоферской кабины и прижавшись друг к другу, чтобы было теплей. Мимо полуторки неслись еще покрытые талым клочковатым снегом взъерошенные поля, завалы из срубленного леса, дощечки с надписями «мины», воткнутые по краям кювета, брошенное вражеское снаряжение, искореженные, обгорелые остовы автомашин. Куда ни посмотришь — останки самолетов, пушки, у которых под самый корень сорваны стволы, окровавленное тряпье, пробитые немецкие каски, дистанционные трубки снарядов, обломки стабилизаторов от авиационных бомб. Попадались буколические немецкие кладбища, выстроенные правильными рядами кресты, и на каждом — овальная плашка, выпиленная из березового ствола, белая ангельская кора на них не была снята. Кое-где сохранились еще на дороге немецкие названия населенных пунктов, хотя самих населенных пунктов не существовало. Встречались кучи песка для ремонта дороги, и возле — сделанная с немецкой аккуратностью готическая надпись: «Дорожный песок». Еще не были убраны распухшие трупы лошадей в кюветах, а на перекрестке, где наш водитель поубавил газ, я увидел вмерзший в прозрачную лужу труп маленькой рыжей собачонки. На тру-

не сидела важная ворона, похожая на орла фашистской империи, и она даже головы не повернула в нашу сторону, когда полуторка проезжала мимо, не то чтобы подняться в воздух.

Эту сумятицу, непередаваемый хаос нельзя было назвать ни полями, ни просто землей, по которой проходил армейский передний край, а только пространством, потому что линия немецкой обороны была не взорвана, не сметена, а возвращена огнем артиллерии, тяжелых минометов и авиации в первозданное состояние. И огромные воронки, еще не залитые талой водой, походили на фантастические кратеры.

Теперь здесь уже утверждались наши тылы. Мы промчались мимо полуразрушенной риги. Снизу доверху, то есть до самой кровли, она была набита тысячами поношенных валенок. Фасадной стены у риги не существовало, и они все торчали наружу стоптанными подошвами, обгорелыми голенищами. Никогда я не видел сразу столько старых валенок. Затем полуразрушенная, но чудом сохранившаяся изба — подобие избы — набитая лыжами, и возле нее — горы саней, штабеля волокуш. Зима кончилась, хозяйственные команды собирали зимнее снаряжение в прифронтовых тылах.

Злорадства я не испытывал, глядя на то, что случилось с вражеской обороной. На сердце у меня было торжественно и спокойно. В голову приходили смутные мысли о возмездии, заслуженной каре, но по-настоящему если что-нибудь меня волновало в те минуты, так только мысли о том, чтобы поскорее добраться до редакции, поесть горячего и лечь спать на нарах в жарко натопленном бункере, где теперь был мой дом.

К вечеру стало подмораживать, задул пронизывающий ледяной ветер. Машина свернула с асфальтового шоссе, битого и перебитого, но все же проезжего в любое время года. Дальше, к далекой переправе, вела лежневка. Очевидно, регулировщик на контрольно-пропускном пункте только что открыл шлагбаум, потому что на запад уже шли по полю десятки автомашин, и мы въехали за ними на лежневку без задержки. На том конце, у самой переправы через Полу, другой регулировщик на своем контрольно-пропускном пункте пока что сдерживал встречный поток машин.

Тяжко нам приходилось на Северо-Западном фронте. На многие десятки, если не на сотню, километров вокруг — болота и леса. Здесь даже землянку в большинстве случаев невозможно было отрыть: через час-другой ее заливала подпочвенная вода. Здесь строили наземные блиндажи, уберегаясь от осколочных попаданий за земляными насыпями, за шестикратными накатами из толстых бревен. В редакции остряли: условия местности здесь таковы, что людям остается одно из двух: либо они превратятся в земноводных, либо у них отрастут крылья. С листа крупномасштабной карты, только с одного листа, я списал наугад несколько названий, в них весь пейзаж и весь характер местности. Вот деревни: Жабье, Поганово, Мокрый остров, Русская Болотница, Кривая клетка; села — Небылицы, Гадово, Песий Конец. Река, ползущая по этому листу и впадающая, кажется, в Полу, а может быть, в Ловать, называлась Мокрючихой. По обе стороны ее, по обоим берегам простирались болота: Большой мох, Дивин мох, Гажий мох, Навий мох, болото На углах, болото Сливы, болото Чертовщина...

По гладко обтесанным бревнам, пригнанным друг к другу впритык и скрепленным железными скобами на поперечных опорах, грузовики и легковушки идут как по рельсам — ни тряски, ни толчка. Беда лишь в том, что одно неверное движение — и машина слетает с деревянной колеи. Не легко поднять ее обратно на дорогу.

Итак, мы едем по лежневке. Голое, раскисшее поле, вокруг теперь чуть схваченное морозом. Далеко на севере чернеет неведомый лес. Налево — низкий горизонт, и на его фоне — кирпичные корпуса разрушенной фабрики или завода, рядом — жилой поселок, в котором не видно ни души, просвечивают насквозь выбитые окна, от домов остались одни стены. Солнце закатилось за горизонт в оранжевом тумане, багровое, сплюснутое, точно болванка раскаленной стали. Сгущаются сумерки, а небо еще светлое, безоблачное, без теней, как опрокинутое над нами чайное блюдце. Наша сожженная деревушка Новый Брод, стоящая на сухом бугре, теплые и сухие бункера редакции кажутся мне самым желанным местом на земле. Но до них нужно еще доехать.

И тут передняя машина замедлила ход и остановилась. Остановилась и наша полуторка. За нами вытянулись на лежневке десятки шедших позади машин. Послы-

шались голоса: «Чего встали?», «Что там, впереди?». Вышел из кабины, осторожно ступая по бровке дороги, чтобы не соскользнуть в болото, редакционный шофер. С другой стороны приоткрыл дверцу и высунулся, став одной ногой на подножку, старший лейтенант Легостаев.

Мы все, сидевшие в кузове, также повскакивали с мест.

— Эх, до леса не дотянули! Теперь будем припухать до утра, — с досадой сказал майор Марочкин, еще не зная что случилось.

Осторожно пробираясь мимо машин, наш водитель пошел вперед узнать, в чем дело. Выпрыгнул из кузова и пошел за ним старший лейтенант Рыбка.

Так оно и оказалось, — то ли какой-то шофер впереди зазевался, то ли вздремнул за рулем, машина его вильнула в сторону, съехала с деревянной колеи и, проломив тонкую корку льда, накрепко застряла в жидкой грязи между поперечинами лежневки. Чтобы не налететь на нее, неловко тормознул водитель следующей машины, ее занесло, и он также завяз по ступицы.

Теперь нужно было ждать гостей. И действительно, не прошло и получаса, как зашумел в вышине невидимый самолет, и Легостаев определил, что над нами, очень высоко, немецкий разведчик.

— Приведет теперь, мерзавец, авиацию, — сказал редактор.

Где-то за тридевять земель глухо ворчала тяжелая артиллерия, а здесь, в вечерней тишине, слышалось только надрывное завывание застрявшей машины и людские голоса: «Ну, взяли! Еще раз! Ну, разом...»

Мимо прошли два бойца, возвращаясь к своим машинам оттуда, где образовалась пробка. На вопрос о том, как там подвигаются дела, они с досадой отмахнулись.

Моя помощь, вероятно, была не нужна. Там и без меня хватало людей. Все же я вылез из полуторки, чтобы размяться, и пошел вперед.

Добрых два десятка человек хлопотали возле застрявших машин. Здесь были и бойцы, и водители, и офицеры. Но всеми вершил и всеми командовал наш Рыбка. Я никогда его не видел таким здравомыслящим. Четко отдавал он приказания. И всем его командам подчинялись без пререканий. Уже были притащены толстые ваги, уже сы-

пали хворост под колеса машин, уже их поддомкрачивали. Перемазанный, разгоряченный, Рыбка распоряжался темпераментно и самозабвенно. Он показывал куда подкидывать хворост, как лучше поддеть вагой заднюю ось. Он подставлял плечо под вагу, потом перехватывал и повисал на ней, действуя ею как рычагом. Он лез по колено в болото, чтобы уложить валежник под колесо. И, помню, тогда мне подумалось: вот нашел человек свое призвание. Каким несведущим ходил он в нашей редакции и каким нужным, полезным оказался в дорожном происшествии. Ему надо расшивать пробки на дорогах, наводить мосты, командовать на переправах!

Ну, а мне? Кем мне надо быть? Мечтаю о том, чтобы поскорее доехать до теплых редакционных бункеров, и стою здесь безучастно! Что с того, что в политуправлении похвалили мою работу в газете? А чем я здесь могу помочь?

Совсем стемнело между тем, и только фары нескольких автомобилей подсвечивали серую дымку кустарника и прошлогодней травы, да кое-где вспыхивали огоньки самокруток и искрили «катюши» — фитили и кресала.

Я вернулся к своей полуторке, когда огромная полная луна, окутанная клочьями облаков, медленно поднялась над полем. Круглая, как медный пятак, она выползла из облаков, на горизонте, но не пошла в зенит, а косо, точно ее сдуло ветром, начала описывать пологую дугу по темному небосклону. Еще десяток минут, и она уже напоминала не пятак, а ухмыляющуюся морду, высунувшуюся из плетня. Я не шевелился в кузове полуторки, потому что стало чертовски холодно. Не шевелился и Марочкин, может быть, заснул. Ощущение было такое, точно ничего больше нет на земле, — ни городов, ни железных дорог, ни книг. Одно первобытное пустое поле вокруг. Я представил себе древнего пастуха и то, как он сидит у костра; овцы, скажем, столпились в лощине. Так же, как я теперь, смотрит он на луну, и в его сумеречном воображении рисуется глупая старушечья рожа. Чем я отличаюсь от него? Мы оба сейчас одиноки, ничтожны, беззащитны под этим небом, под этой луной.

А над полем, над лежневкой, над лентой застывших машин все выл и выл грузовик, и человеческие голоса кричали: «Эх, разом! Ну, взяли!» Среди прочих натруженных, осипших голосов все время ясно различался полный

бодрости и азарта, крепкий, неунывающий командирский голос Рыбки.

Не помню, сколько прошло времени, когда послышался многоголосный слитый гул немецких бомбардировщиков. Даже колготни тяжелой артиллерии не стало слышно. Только глухой набегающий, вибрирующий рев вражеских самолетов. Он приближался, нарастал.

— Во-оздух! Гасите свет, авиация!.. — разнесся над лежневкой протяжный крик.

В той стороне, где находилась переправа, точно искры большого костра, разложенного за невидимыми кустами, медлительные, будто их так же, как луну, сбивало ветром, поднялись снопы трассирующих пуль. Да, они казались то ли искрами от костра, то ли невинными цветными фонариками, и, достигнув зенита, они погасали разноцветным пунктиром. На мгновение в конце пунктира в темном небе вспыхивали неожиданные звезды зенитных разрывов. Затем — новые цветные трассы, новые разрывы. А самолеты продолжали гудеть по-немецки, с порывистой неотвратимой назойливостью, все ближе и ближе подходя к переправе.

Откуда-то со стороны прорезали небо прожекторные лучи. Они вяло перелистывали, прочесывали, кромсали ночную темноту. Немцы, однако, были недосыгаемы. Над переправой через Полу самолеты отбомбились, — мы слышали глухие, потусторонние удары, — и теперь они шли к нам, чтобы попутно разделаться со скопищем машин, застрявших на лежневке. Секунку спустя над полем, над нашими головами повисли осветительные ракеты.

Точно спросонок, Марочкин сорвался с места, выскочил из кузова и на четвереньках полез под машину. Да разве там спасешься, между двумя полозами бревен, в схваченной морозом жидкой грязи? От осколка, может быть. Ну, а если брызнет из пробитого бака? Сгоришь, как порошок, и слова не успеешь выговорить...

Я как сидел, так и остался в кузове, лишь голову еще больше втянул в плечи, сжался в своей шинелишке насколько мог.

В ослепляющем сиянии чертовых ракет, едва заметно спускающихся на своих парашютах, померк, смешался свет луны. Отвратительными порывистыми голосами ревели невидимые самолеты. Беснаказанно снижаясь в адском белом свете ракет, они заходили над лежневкой и

стегали, стегали из пушек и пулеметов по веренице беззащитных машин. Когда сгорала осветительная ракета, они тут же подвешивали новую. Вспыхнула на лежневке одна машина, другая... Послышались крики раненых. Потянуло над полем дымом горящего дерева и бензина.

А луна косо скользила по бесконечному небу, странно уменьшившаяся в размерах, холодная, точно остуженная ветром, такая, как тысячу, как десять тысяч лет назад, и только вместо древнего пастуха я сидел, сжавшись в комок, в этом первобытном царстве, и на сердце у меня было странное непередаваемое ощущение пустоты.

Как только самолеты ушли, снова наступила тишина, стала слышна далекая артиллерия, зазвучали в поле надсадные голоса тех, кто впереди на лежневке выволакивал машины, и все перекрывал неунывающий голос Рыбки.

Марочкин вылез из-под полуторки, перемазанный в грязи, и бросил мне сердито:

— Продрог до последней нитки.

Рывком он распахнул дверцу и влез в шоферскую кабину. Еще и еще раз, как в злом сне, когда бежишь от кого-нибудь и не можешь убежать, прилетали немецкие самолеты.

И снова:

— Во-оздух! Гасите свет, авиация!

И снова искры трассирующего огня, звездные вспышки зенитных разрывов, бомбовые удары на переправе, дьявольское пламя осветительных ракет, огонь немецких самолетов. Снова люди бросались в грязь, пряча голову за бревнами лежневки. Марочкин из кабины больше не выходил.

К концу ночи, когда прекратились налеты немецкой авиации, застрявшие машины удалось поднять на лежневку. Скатали в болото останки сгоревших грузовиков. Появился Легостаев, место которого в шоферской кабине занял Марочкин. Появился Рыбка, без шинели, все еще с засученными рукавами, с черными по локоть, растопыренными руками, закопченный, грязный, еще не остывший от возбуждения.

— Кончен бал, тушите свечи! — бодро прокричал он. Вытерев руки, он надел шинель и влез в кузов.

Впереди заработали автомобильные моторы. Влез в кабину наш водитель. Минут через пять тронулась за другими машинами и наша полуторка.

Было еще темно, когда мы утром прпехали в разрушенное село недалеко от переправы. Здесь располагалось хозяйство второго эшелона. Мороз к утру усилился, и мы с Рыбкой и Легостаевым окоченели чертовски. Когда кто-нибудь закуривал, видно было, как закуржавели, заиндевели у нас ресницы и брови. Меховыми от снега стали уголки поднятых воротников.

Возле полуразрушенного кирпичного магазина или конторы, с дверью, занавешенной плащ-палаткой, с окнами, забитыми досками и фанерой, полуторка наша остановилась. Я знал, чье это жилье: начальника тыла и его заместителя. Плащ-палатка у входа откинулась, крутые клубы пара, подсвеченные лампой из дверного проема, вырвались на улицу, и было件нятно, что в помещении жарко натоплено, что там, наверное, докрасна раскален камелек, что люди сидят там, как в нормальном доме, без верхней одежды. И верно, вслед за облаком пара на улице выскочил в одной гимнастерке повар или ординарец, повязанный белым фартуком, держа в руках алюминиевые миски и котелки.

Заскрипела, лязгнула дверца нашей машины, из кабины полуторки вышел майор Марочкин и заковылял на застывших ногах в дом. Он широко откинул плащ-палатку, и мы увидели, как его бурно приветствуют офицеры, находящиеся внутри. Минут через пять слышались приглушенные плащ-палаткой звуки патефона. Исполнялся модный романс «Черные глаза». Наверное, по случаю его приезда. А мы сидели в кузове, на холоде, на ветру. От щемящей мелодии горько и тяжело стало у меня на сердце. Как мне хотелось в тепло! Но в теплое помещение нас не звали. Откуда-то из-за угла вынырнули повар и ординарец в фартуке с дымящимися мисками и котелками, а за ним боец в стеганой телогрейке — в обеих руках он крепко держал резиновые грелки, небрежно завернутые в газеты. Не требовалось особой сообразительности, чтобы признать в этих грелках вместилище драгоценной горячительной влаги, и притом довольно емкое.

Время шло мучительно медленно. Мучительно медленно наступал рассвет. Не двигаясь, прижавшись друг к друг, сидели мы в грузовике и молчали. Я старался не глядеть на товарищей, они не смотрели на меня. Каждая косточка в теле налилась жгучим холодом. Оледенелые руки, ноги, странным образом оледенел лоб под шапкой.

Надо было встать, размяться, но не было никаких сил. Между тем в помещение проскользнул солдат-парикмахер. Он тоже был в белом фартуке, как и ординарец. В руках у него — ремень, бритва, чемоданчик. Вот, значит, как! Он тут и побреется. А что такого? Редакция наша живет на отшибе, между первым и вторым эшелонами. А здесь — центр, цивилизация. Тем более что нашего редактора всюду хорошо принимают, как-никак он — пресса, он — сила. Он может поместить статью в газете, поведать миру о боевых подвигах подразделения или о героической деятельности тылови́ков, а может и промолчать. Он все может. Вот захотел, например, и заехал проведать друзей.

Проходит сорок минут, час, проходит полтора часа. Водитель уже дважды заводил мотор, прогревал машину, а Марочкина нет и нет. Да он просто забыл о нас, просто забыл! Забыл? О собаке не забудешь в такой холод. Он просто о нас и не думал.

Само собой разумеется, Марочкин мог не звать нас с собой к начальнику тыла, но разве он не был обязан позаботиться о подчиненных? Не знаю, как назвать чувство, которое меня переполняло. Обида? Негодование? Нет, пожалуй, ужасная, ошеломительная беспомощность. Пойти, напомнить о себе? А вдруг он поставит по команде «смирно» и завернет назад? Испытать еще и публичное унижение? А может быть, ни мыслей, ни чувств в те минуты у меня не было никаких. Случайно я взглянул на Рыбку. Было уже совсем светло. Таким я никогда его не видел. Он не то чтобы замерз или был смущен — в глазах его светилась живая мучительная мысль, удивление, точно он впервые столкнулся с унижением человеческого достоинства. Заметив, что я смотрю на него, он тут же сделал вид, что ничего особенного не происходит.

Но вот ощущается какое-то шевеление за плащ-палаткой. Внимание! Марочкин на пороге. После того как мы прождали его два с половиной часа, наш Марочкин выходит из помещения сытый, разгоряченный, хмельной. Он чисто выбрит, напудрен; на всю улицу от него пахнет одеколоном «Красная Москва». Марочкина провожают начальник тыла, его заместитель, адъютант. Мне кажется, они порядком удивлены, увидев нас в машине, покрытых инеем, закуржавелых, как ленинградские памятники, в ветреный зимний день. Однако нашему виду некогда придавать повышенное значение. Кто-то еще остановился

в дверях, картинно приподняв плащ-палатку. В этом помещении даже не уберегают такое не доступное нам тепло!

Прощальные взмахи рук, и редактор Марочкин командует шоферу:

— Давай, поехали!

И ни слова больше. Точно ничего особенного не случилось.

А может быть, действительно ничего особенного не случилось? Тяжко мучались на войне и гибли люди. Сколько беды вокруг, сколько страданий! А что такое произошло у нас? Подумаешь, проявил человек невнимательность, пусть даже черствость. Какие пустяки!

Содержание

<i>Виталий Василевский. История и современность</i>	3
Большой мир	9
На рассвете	13
Речные просторы	20
Буровая на море	26
На старом заводе	37
Жена	50
Повесть о медной руде	61
Мед и деготь	103
Самая простая история	126
Была война...	137
Любовь? А что это такое?	144
Memento mori	152
Ничего особенного не случилось	162

•

Александр Григорьевич Письменный
«НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ»

Повесть и рассказы

Редактор В. Геллерштейн

Художественный редактор Б. Мокин

Технические редакторы Е. Румянцева, Л. Дунаева

Корректор М. Стрига

Сдано в набор 26/XII—1974 г. Подписано к печати 14/V—1975 г. А00582. Формат изд. 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 5,5. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,37. Тираж 30000. Заказ № 78. Цена 51 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Типография № 2, Росглавполиграфпрома г. Рыбинск,
ул. Чкалова, 8.

~~51~~ коп.